ОГОНЁК

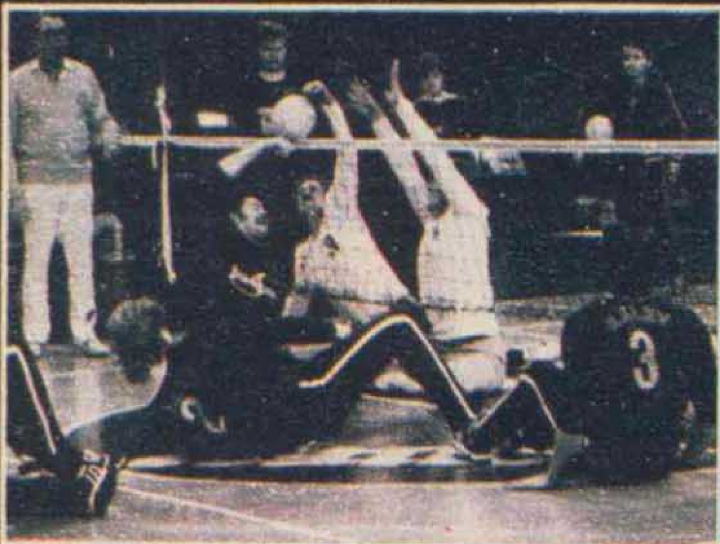
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА
№ 22 МАЙ 1987

ЦВЕТНЫЕ СНЫ

Я БЛИЖНЕГО ЛЮБЛЮ...

РАССКАЗ ВЯЧЕСЛАВА КОНДРАТЬЕВА

СИДЯЧИЙ



ВОЛЕЙБОЛ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ «ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ»

ИГРАЕТ ОРКЕСТР ДУХОВОЙ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОГОНЁК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 22 (3123)

30 МАЯ — 6 ИЮНЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Маша Кублик и ее картины (см. в номере материал «Цветные сны»).

Фото Льва ШЕРСТЕННИКОВА

Оформление Н. П. КАЛУГИНА при участии О. И. КОЗАК.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Коммунистического воспитания — 250-38-17; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-39; Писем и массовой работы — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформления — 212-15-77; Литературных приложений — 212-22-13.

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 11.05.87. Подписано к печати 26.05.87. А 00382. Формат 70×108¹/₈. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 500 000 экз. Изд. № 1502. Заказ № 308.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Встречай, Америка!

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГО

Борис РЯЗАНЦЕВ

О перелете написано и сказано много высоких слов. Но его значение нисколько не умалилось за полвека. Напротив, в наши дни, в современной международной обстановке перелет приобретает новый и очень важный смысл. Мы встретились с Георгием Филипповичем Байдуковым и попросили рассказать о времени, предшествующем полету.

— Подготовка к нему началась задолго до памятного старта. Идея принадлежала классному летчику, Герою Советского Союза Сигизмунду Александровичу Леваневскому. Я тогда работал испытателем. И в один прекрасный день пришел к выводу о том, что мне жизненно необходимо инженерное образование. Ведь как бывало: инженеры из испытательной бригады разбирают очередной полет, а ты стоишь рядом как одушевленный атрибут машины и ни о чем, кроме ее поведения в воздухе, существенного сказать не можешь. А мне хотелось быть активным участником создания самолета, оценивать его состояние в полете грамотно, основываясь на знаниях.

Словом, несколько раз пытался поступить в академию имени Жуковского. И не было бы никаких проблем, если б речь шла о командном факультете. Но я твердо выбрал другой.

Мне поставили условие: подготовить экипажи и технику для особо важных полетов. Может, тогда у меня пропадет охота учиться. Сегодня, кстати, трудно представить испытателя без высшего образования. А тогда я с заданием справился и на самолете ТБ-3 летал флагманом с правительственной делегацией по европейским столицам. После полетов разрешили поступать в вуз.

Отучился первый год. Шли экзамены. Помню, сдал математику и химию. Предстояло испытание по курсу физики. Вдруг вызывает начальник и вручает два документа. Первый — постановление СТО о назначении меня сменным летчиком, сменным

Праздничного интервью не получалось. Как будто бы и обе даты, почти совпадающие по времени, давали повод для торжества, но... Первая, 26 мая,— день 80-летия собеседника. Она оставалась бы его частным делом, если б имя Георгия Филипповича Байдукова не было всемирно известным. Один из знакомых с грустью назвал его «последним из могикан»... Ведь прославленный летчик был членом экипажа самолета, без посадки пролетевшего через Северный полюс от подмосковного аэродрома Щелково до аэродрома Пирсонфильд в Ванкувере, близ Портленда. Командовал АНТ-25 Валерий Павлович Чкалов. Третьим был Александр Васильевич Беляков.

До 50-летия события осталось ровно три недели. Это и есть вторая дата.

Ликующая Москва: слава героям! (Из архива Г. Ф. Байдукова).

ОВОР В ДНИ ДВОЙНОГО ЮБИЛЕЯ

штурманом и сменным радистом в экипаж Леваневского для выполнения особо важного задания. Второй — командировочное предписание, подписанное начальником ВВС Яковом Ивановичем Алкснисом. В нем приказ — поступить в полное распоряжение Героя Советского Союза Леваневского. Позже я понял, что на решение повлияли мои полеты по столицам Европы. Видимо, их качество произвело впечатление на Алксниса. И еще то, что в то время производил госиспытания по «слепой» посадке, участвовал с Валерием Павловичем Чкаловым в испытаниях истребителей.

Депутат Верховного Совета СССР Г. Ф. Байдуков в зале заседаний. Март—апрель 1940 г. Фото ТАСС.

Прошло сорок семь лет... Г. Ф. Байдуков в своей московской квартире. 25 мая 1987 г.

Фото Льва Шерстенникова.

Феликс ЧУЕВ

АФГАНСКАЯ СЛАВА

БРАТСТВО

Афганским воинам, спасшим советского летчика Александра РУДСКОГО.

Из машины из многотонной
в перебитых нервах рулей,
с высоты, раскаленной, тонкой,
соскользнул на глину, в ручей.

И казалось, со всей округи
к ненавистному шурави [1]
саранчою полезли «духи»
сотворить намаз на крови.

Но однако же, но однако
над камнями, где он упал,
обозначились автоматы
пересверками из-за скал.

И какой-то парнишка шустрый
подбежал:— Командир, живой?—
По-афгански ломаный русский
прозвучал на передовой.

Позабудет пилот едва ли,
как еще чуть-чуть — и в плену.
Знаю: батю так прикрывали
партизаны в нашу войну.

И ни слов, и ни пуль не хватит
рассказать про наземный бой,
как упал на тебя солдатик
и, живой, заслонил собой.

Авиация без оваций.
Горы снизу так высоки...
Он все ищет этих афганцев —
видно, скромные пареньки.

АФГАНЦАМ XXI ВЕКА

Полюшко стало не минное
там, где Иван прошагал.
Солнце хозяйкою мирною
выскоблит копоть со скал.

Небо горячее, вязкое
тишью подышит сполна.
Дружбою кровной повязана
братская рядом страна.

Значит, во имя грядущего
мы постарались не зря,
неколебимо идущие
к вам на подмогу, друзья.

Кабул — Москва.

[1] Советский.

См. стр. 1.

Откровенно, назначение меня совсем не обрадовало, поскольку мешало учебе. Да и Арктика особенно меня не тянула. Я сибиряк и сравнивал заполярные пространства с просторами наших степей. Но меня переубеждали, уговаривали. Хотя, если честно, приказ был обязан выполнять.

В общем, стали готовиться. Я несколько раз полетал на АНТ-25 с полной нагрузкой, показал полет в облачности по приборам и вслепую. Леваневскому понравилось. Хотя угодить ему было трудно — был он строг и требователен. Но, правда, и красив был очень — блондин с голубыми глазами. Задачу по подготовке разделили: машину испытывал командир, а я активно совершенствовался по астрономической и радиотехнической навигации, консультировался с основным штурманом Виктором Ивановичем Левченко. И, конечно, советовался с профессором Александром Васильевичем Беляковым, который вел курс навигации и был дублером Левченко.

Подошло время вылета. Перед ним мы встретились с Орджоникидзе, который возглавлял правительственную комиссию по дальним перелетам. Он перенес тяжелую операцию и уезжал долечиваться в Минеральные Воды. Он предупредил нас, что мы должны прервать полет и вернуться, если материальная часть будет неисправна. Его сменил Ворошилов, который несколько упростил задачу: главное — перескочить через полюс и дотянуть до первого острова на северном побережье Канады. На этот случай нам была выдана солидная сумма долларов.

Поднялись в воздух, легли на курс. Но дошли лишь до Баренцева моря — забило масло. Поначалу передавали на Большую землю, что все в порядке. Но настал момент, когда командир забеспокоился и показал на плоскость, по которой черным червяком вилось масло. Появилось оно и в кабине... Уже потом выяснилось, что масло гнало и по днищу.

Стали подсчитывать, хватит ли его до Канады. Потом-то, после детального разбора, стало понятно, что не дотянули бы. А тогда, в воздухе, получалось, что можно долететь. Состоялся радиоразговор с Алкснисом — самым деятельным членом комиссии по дальним перелетам. Замечательный, кстати, человек. Когда кто-то занимался нужным делом, он не сдерживал, а подгонял. Не ставил препон, а воодушевлял, содействовал. Вот бы таких Алкснисов побольше в наше бюрократическое время! Книгу о нем пишу — четверть объема осталось. Весьма достойный человек, настоящий большевик.

Командир принял решение вернуться. Посадку дали под Новгородом. И пока мы возвращались, туда на всех парах мчался спецпоезд с правительственной комиссией. А нам еще предстояло сажать машину. А перед этим необходимо было сбросить неизрасходованное горючее до посадочного веса. Вспомнили об этом не сразу. И потому самолет перед приземлением буквально пропитался бензином.

Ночная полоса была не освещена. Вместо прожекторов вдоль нее стояли красноармейцы и поджигали горючую жидкость в специальных противнях по мере приближения самолета. Я выключил все освещение, кроме навигационных огней и лампы для Левченко. Мало ли кто-нибудь еще прилетит, а мы не обозначены.

Сели. Я крикнул уже с земли, чтоб Левченко, выходя, захватил валюту и выключил остальное освещение. И тут самолет вспыхнул. Почему-то сработали и осветительные, сигнальные ракеты Хольта. Стали сбивать пламя с плоскостей — да куда там! Три человека с летными куртками, а длина крыльев 34 метра. И тут, как в сказке, появились два грузовика с бойцами. Они мигом окружили машину и буквально в считанные мгновения завернули ее в брезентовые полотнища.

Прибыла комиссия, и на просьбу Туполева перегнать самолет в Москву Леваневский ответил отказом. Ждать ремонтную бригаду остался я. За это время произошло одно неприятное происшествие. В один прекрасный день обнаружил, что самолет, дотоле опечатанный пломбами местной организации, опечатан НКВД. Значит, в наше отсутствие осматривали самолет, искали что-либо, компрометирующее экипаж. Устроил такой скандал! Через некоторое время снова появились прежние пломбы. Я как раз вспомнил, что у меня осталась в мавшине запись с расчетами масла. И по ней вполне можно было бы сделать вывод о том, что Леваневский принял неверное решение. Кстати, потом мы все вспоминали Орджоникидзе — в системе были обнаружены конструктивные недоработки. Впоследствии они были ликвидированы, но в тот момент Леваневскому грозило наказание. К счастью, все обошлось.

Через несколько дней в Кремле состоялось совещание. По одну сторону стола сидели Ворошилов, Молотов, Туполев, с другой стороны — мы трое, а Сталин ходил по ковровым дорожкам. Суть происходящего свелась к следующему. Леваневский выразил в резкой форме недоверие Туполеву и отказался летать на его самолетах. Туполев, понятно, был на грани обморока. Ворошилов его увел. А Сталин сказал, что Леваневский не только Герой Советского Союза, но и национальный герой США, поскольку недавно спас американского летчика Матэрна, потерпевшего аварию на Чукотке. И поэтому Леваневскому следует выехать в США и приобрести там лучший самолет. Ему, дескать, охотно пойдут навстречу.

Тут я набрался храбрости и поднял руку. Вернувшийся Ворошилов мне кулак показывает. Все равно руку тяну. Сталин оборачивается и раздраженно спрашивает: «Что у вас, товарищ Байдуков?» Я и ответил, что считаю такое мероприятие совершенно бесполезным. Сталин рассердился и говорит: «Я требую доказательств!» Я объяснил, что в прекрасных по насыщенности информационных бюллетенях ЦАГИ имеются исчерпывающие сведения о состоянии современной авиации и прогнозы на будущее. Что, судя по этим обзорам, более приспособленного самолета, чем АНТ-25, в мире нет. Наш по дальности лучше. Просто он требует доводки.

Сталин пошел по дорожке, сделал неопределенный жест трубкой и вдруг совсем не в своем стиле сказал: «Ну, это дело экипажа, кому ехать». И я не поехал. Проводил Леваневского и Левченко в Америку, а сам стал шеф-пилотом московского авиазавода. Одновременно участвовал в доводке АНТ-25.

Именно тогда обнаружились недоработки в системе маслопроводов, загазованность выше всяких пределов, из-за которой бы мы тоже не долетели до полюса — заснули бы навсегда в полете тихо и незаметно. Об этом, кстати, первыми узнали врачи, сразу после посадки взявшие у нас кровь на анализ. Были еще мелочи у Белякова, с которым вместе работали. Все это время у меня не шли из головы пророческие слова товарища Серго.

В начале 1936 года машина была в принципе готова. Доложил по команде. Алкснис похвалил, сказал: надо лететь. Так ведь Леваневский, говорю, с Левченко в США, они ищут машину.

А сам не распространяюсь, что Чкалова обхаживаю. Тот со свойственной ему скромностью отказывался. Я, говорил он, вслепую хуже тебя летаю, а штурманского дела и вовсе не знаю. Требуется, твержу ему, две вещи — разрешение и взлет. Он ни в какую: я, Егор, привык летать сам, а не кататься, да еще на чужих плечах. Ну, думаю, дойму тебя.

Иду однажды по Центральному аэродрому. Погода снежная, метет. Самый раз для тренировки полетов вслепую. Дай, думаю, зайду на летно-испытательную станцию, наверняка Чкалов там. Захожу — точно сидит, в шахматы режется с Володькой Коккинаки. Спрашиваю: «Хочешь полетать, Валерий Павлович?» Он усомнился в моей серьезности, но к ангару пошел с видимым удовольствием. Пришли к нашей краснокрылой машине, и я в шутку представляю: «Молодой человек сейчас будет учиться летать на АНТ-25». Его все, конечно, знали. Как он готовился к полету,— сразу видно было старую школу: с каждым техником поговорил, поинтересовался подробно не только основными, но и каждым вспомогательным механизмом.

Взлетели. Тут он как заложит вираж! Этакий, знаете, в типично чкаловском стиле, с многократной перегрузкой. Я только за голову схватился — у машины, дескать, прочность занижена для облегчения веса, а ты, Валерий Павлович, так ею вертишь...

Сел он в восторге. Но все еще отказывается. Хорошо, неподалеку был начальник штаба дальних перелетов Василий Иванович Чекалов. Он и говорит Чкалову: если бы в гражданскую бойцы избрали тебя командиром, а ты отказался, они бы тебя не поняли. В общем, уговорили.

Тут же написали письмо в правительство о перелете через полюс. Время шло — ответа не было. Получили мы его случайно на одном из совещаний, где присутствовал Сталин. «Кто же не читал вашего письма?— сказал он.— Но разве можно лететь без долгосрочного метеопрогноза? И вообще для нас гораздо важнее сейчас полет до Петропавловска-Камчатского». Мы согласились, конечно, но выговорили возможность усложнить и удлинить маршрут за счет пролета над Северным Ледовитым океаном. Ну, а про этот перелет на остров Удд, который с тех пор носит имя Чкалова, вы, должно быть, и книги читали, и хронику видели. Одно только скажу: посадка на острове — миллионный шанс на спасение, подкрепленный мастерством Валерия Павловича... После острова Удд мы отправились через полюс...

А в нынешнем году должен состояться третий перелет — второй был в 1975 году, когда был установлен монумент в Ванкувере в честь нашего первого авиационного визита. К 50-летию события был составлен план. Вкратце он выглядел так: АНТ-25, хранящийся в Чкаловском музее Горьковской области, разбирается и в грузовом отсеке самого большого современного самолета в мире — «Руслана» — перелетает через полюс в Портленд. Но первым стало возражать горьковское руководство, поскольку самолет — «территориальная собственность области». Потом стали возникать препоны на самых разных уровнях. Не буду говорить о значении такого перелета в нынешний момент, когда необходимы контакты с США для преодоления взаимного недоверия. Все это общепонятно. Но, видимо, не всем.

Несколько месяцев назад, когда лечился в госпитале, мне сообщили, что я назначен старшим группы, в которую, кроме меня, входят еще пять человек, на мой взгляд, не имеющих прямого отношения к перелету. Добавили к тому же, что полетим мы обычным рейсом Аэрофлота до Нью-Йорка. Тогда я сказал, что мне пора на процедуры.

Я не могу в этих обстоятельствах лететь в Портленд на американском самолете — ведь от Нью-Йорка до него еще пять тысяч километров. Мне не позволят этого национальная гордость советского человека и профессиональное достоинство летчика. Одного из тех, кто, кстати, первым был на той легендарной трассе. Обычным рейсом я не полечу. А среди препон якобы невозможность размонтирования АНТ-25. Но разобрать его можно. И у меня есть на то собственное мнение. Его неоднократно разбирали при перевозках. Есть и рабочие, и инженеры, способные в короткий срок произвести эту операцию. Но время идет. А один из исполнителей, планируя полет через Нью-Йорк, даже не удосужился посмотреть на карту, чтобы поинтересоваться, где находится Портленд. Кстати, эта трасса длиннее на 5 тысяч километров.

В США я особенно не стремлюсь — был там шесть раз. И с американцами увижусь — двадцать человек прилетают 8 июня. Но я считаю, что надо бы придать этому юбилею больше внимания. Очень он, мне кажется, важен сегодня, когда ракеты могут летать из страны в страну куда быстрее, чем самолеты.

ПАЛАЧ И ЕГО ПОКРОВИТЕЛИ

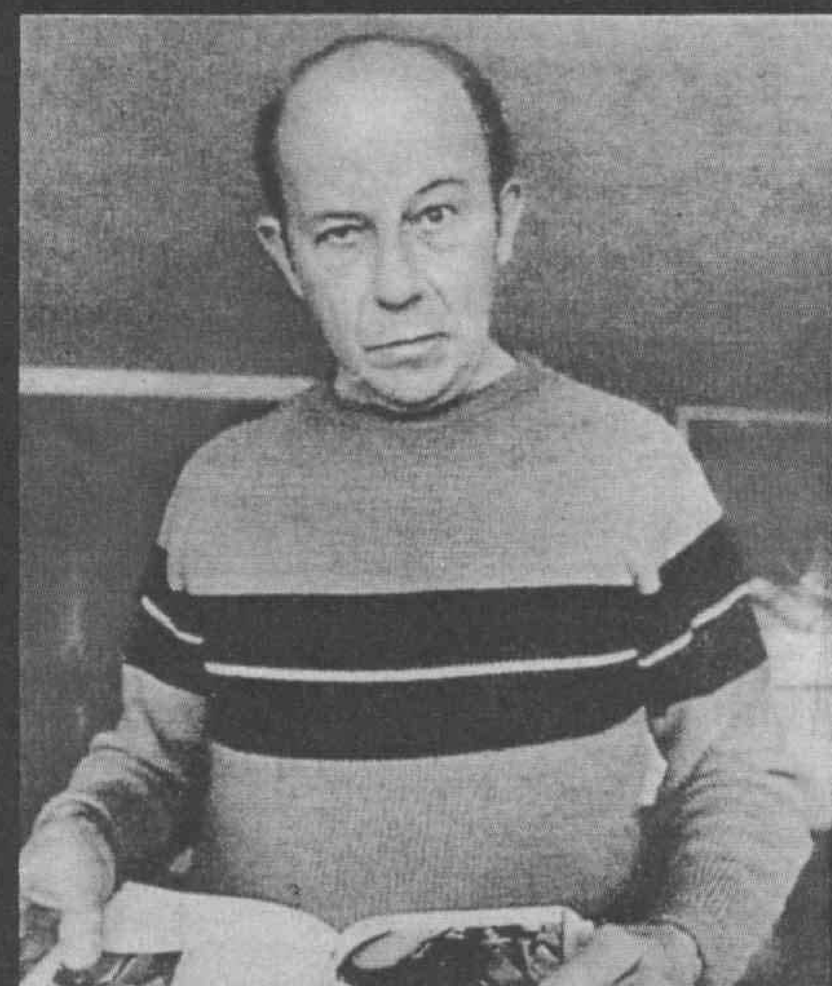
Во всю обложку массового американского журнала «Нью-Йорк таймс мэгэзин» (приложение к газете «Нью-Йорк таймс») дан портрет молодого мужчины в военной фуражке. Правильные черты волевого лица, прямой, чуть надменный взгляд. Таким в Америке подают обычно супермена, например, солдата морской пехоты. Я сразу так и предположил, что нарисованный парень именно из этой элиты американской армии, к тому же манера художника — самая современная. Но нет! Оказывается, живописец столь комплиментарно изобразил офицера в гитлеровской форме — палача Клауса Барбье, который в годы второй мировой войны пытал и убивал во Франции участников движения Сопротивления. Сейчас его судят в Лионе, где он зверствовал в свое время. Его история уже достаточно известна. Меньше знает мировая общественность о том, как после окончания второй мировой войны Барбье делал карьеру в американской военной контрразведке, причем новые хозяева прекрасно знали о его прошлом. И вот, несмотря на то, что с тех пор прошло более сорока лет, многие из американских хозяев фашистского палача еще живы и здоровы, ниже можно ознакомиться с их воспоминаниями о совместной службе с Барбье, а также с их фотографиями, которые лишний раз неопровержимо подтверждают чудовищную достоверность всей этой истории.

Обложка журнала «Нью-Йорк таймс мэгэзин».

«Нью-Йорк таймс мэгэзин» свидетельствует: «Барбье был завербован в американскую армейскую контрразведку в 1947 году и работал в ней до 1951 года, а затем американцы организовали его переезд в Боливию». А далее журнал задается таким вопросом: почему же роль американцев в послевоенной жизни Барбье до самых последних пор не была известна? Наивный вопрос! Связь эта тщательно скрывалась. И не она ли была причиной того, что Барбье не попал на скамью подсудимых много раньше?

В январе 1945 года Барбье, спасая свою шкуру, покинул Францию и вернулся в Германию. Там оказался сразу в бункере Гитлера. Потом скрывался в самой Германии, поскольку его искали как военного преступника. А затем судьба его сложилась следующим образом.

Роберт Тейлор — первое действующее лицо в этой истории. В настоящее время ему 68 лет, живет в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Был сотрудником военной контрразведки США. Вскоре после войны Тейлор взял к себе на службу гитлеровца Курта Мерка, бывшего сотрудника военной разведки. С ним Тейлор не только быстро сработался, но и просто подружился, главным образом на почве антисоветизма и совместного пьянства. В апреле 1946 года Мерк представил своему американскому шефу Барбье. Тейлор знал о том, что Барбье является военным преступником, что его разыскивают французские власти. Тем не менее он предложил своему начальству завербовать нациста. Примечательно, что, пытаясь продать себя подороже, Барбье дал Тейлору письменный отчет о своих зверствах во Франции. Свое впечатление о нем Тейлор тоже в письменном виде доложил начальству: «Барбье производит впечатление честного человека, как личность и как интеллектуал, у него абсолютно нет нервов и страха. Он ярый антикоммунист и нацистский идеалист...»


Роберт Тейлор — первый американский шеф Барбье.

Эрхард Дэбрингхаус — второй американский шеф Барбье.

Юджин Колб — третий американский шеф Барбье.

(Фото из «Нью-Йорк таймс мэгэзин»)

Некий майор Эрл Броунинг (также проживающий ныне в США), тогда сотрудник штаба американской разведки в Германии, узнав о вербовке Барбье, попробовал протестовать, но тщетно! На его письменный запрос пришел ответ от его же начальства: «В связи с активной работой Барбье в четвертом отделе контрразведки в течение всего 1947 года его невозможно интернировать за нацистское прошлое. Его знания, агенты и фонды уже слишком велики».

Эрхард Дэбрингхаус — второй американский шеф Барбье после Тейлора. Сейчас Дэбрингхаус, ему 70 лет, проживает в Сарасоте, штат Флорида. Уже упоминавшийся нами нацист Курт Мерк представил Барбье и Дэбрингхаусу (как до этого Тейлору). Мерк сказал ему: «Однажды я навестил Барбье в лионской тюрьме. Там в подвале участники французского Сопротивления висели вдоль стен, их подвешивали за большие пальцы рук, и они оставались в таком положении, пока не умирали». Сам Барбье заявил Дэбрингхаусу при знакомстве, что он «был лучшим в Германии специалистом по допросам».

Юджин Колб — третий американский шеф фашистского палача. Проживает в США, Кэйп Элизабет, штат Мэн. Колб, зная все о прошлом Барбье, высоко ценил его знания, опыт и работу на американскую контрразведку. Барбье продолжал вербовать агентов для американцев и не забывал свое привычное занятие — вел допросы, но уже не в фашистских, а в американских застенках. Кстати, Колб считал себя тоже специалистом в этом деле, но признавался, что до Барбье ему далеко.

В конце концов французские власти напали на след Барбье, но американцы, как пишет «Нью-Йорк таймс мэгэзин», «твердо решили не выдавать Барбье французам» и организовали его переезд в Южную Америку (с женой и двумя детьми), где он и скрывался от возмездия более 30 лет.

Курт Мерк—нацист, ставший агентом американской контрразведки.

Владимир НИКОЛАЕВ

МОРИС БЕЖАР:

ТРЕТЬЕГО ИЮНЯ В ЛЕНИНГРАДЕ НА СЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА НАЧИНАЮТСЯ ГАСТРОЛИ БЕЛЬГИЙСКОЙ ТРУППЫ «БАЛЕТ XX ВЕКА», РУКОВОДИМОЙ ИЗВЕСТНЫМ ФРАНЦУЗСКИМ ХОРЕОГРАФОМ МОРИСОМ БЕЖАРОМ. ЛЕНИНГРАДЦЫ, А ЗАТЕМ ЖИТЕЛИ ВИЛЬНЮСА УВИДЯТ ДВЕ ПРОГРАММЫ: БАЛЕТ «МАЛЬРО» И ВЕЧЕР, СОСТАВЛЕННЫЙ ИЗ ФРАГМЕНТОВ РЯДА БАЛЕТОВ МОРИСА БЕЖАРА И ЕГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ — «ДИОНИС», «ПОЦЕЛУЙ ФЕИ», «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МАРИОНЕТКИ», «ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ». 19 ИЮНЯ ТРУППА ВОЗВРАТИТСЯ В ЛЕНИНГРАД. В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТАХ ГОРОДА БУДУТ ПРОХОДИТЬ СЪЕМКИ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ АРТИСТОВ «БАЛЕТА XX ВЕКА» И КИРОВСКОГО ТЕАТРА, ПРИЧЕМ НАШИ ГОСТИ ИСПОЛНЯТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ РЕПЕРТУАРА КИРОВСКОГО ТЕАТРА, А ЛЕНИНГРАДСКИЕ АРТИСТЫ — БЕЖАРОВСКИЕ ПОСТАНОВКИ. 27 ИЮНЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОВМЕСТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТИСТОВ ДВУХ ТЕАТРОВ.

"ТАНЕЦ — ИСКУССТВО XX ВЕКА"

НАКАНУНЕ ОТЪЕЗДА В СССР МОРИС БЕЖАР В БРЮССЕЛЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ «ОГОНЬКА».

— После первых гастролей вашей труппы в СССР прошло почти 10 лет. С какими чувствами вы приезжаете вновь?

— Мои контакты с Советским Союзом, культурными кругами вашей страны фактически не прекращались, так как после наших последних гастролей я работал с Майей Плисецкой, Владимиром Васильевым, Екатериной Максимовой, Олегом Виноградовым, встречался с Игорем Моисеевым, другими советскими артистами. Предстоящие гастроли, как и работа с балетной труппой Кировского театра по подготовке совместной телевизионной передачи, являются логическим итогом этих постоянных контактов.

— Готовя телепередачу из Ленинграда, вы продолжаете работу с советскими артистами. В чем для вас главный интерес такой работы?

— Любой обмен, в основе которого лежит понимание, представляется интересным, а разве танец—исключение? Углубляя стиль каждой из наших трупп, мы обогащаемся. Добиваться прогресса можно, лишь учась у других. Есть и еще одна причина: я рад приехать в Ленинград, так как помню, что Мариус Петипа, родившийся, как и я, в Марселе, только на век с небольшим раньше, прославился в этом городе, где он распространил классический танец. Я прикоснусь, следовательно, к истокам, и сам, в свою очередь, буду делиться тем, чем владею.

— Чем отличается ваша сегодняшняя труппа от той, которую мы видели в 1978 году?

— Значительная часть составляющих ее сегодня артистов не участвовала в предыдущих гастролях в СССР в связи с естественным омоложением труппы. Что же касается стиля, то существенных изменений нет, быть может, происходит только медленная эволюция, связанная с эпохой, в которой мы живем.

— Представьте кратко программу, которую вы привозите. Почему выбран балет «Мальро»?

— «Мальро» — это последняя наша работа. Всегда интересно показать премьеру. Вторая программа — это панорама хореографических произведений десяти последних лет. Она позволяет получить представление о работе труппы в период, когда большинство выступающих сегодня артистов еще не входило в нее.

— На этот раз ваша труппа не выступает в Москве...

— Мне сказали, что Большой театр закрывается на ремонт, а сцена Кремлевского Дворца съездов уже отдана для других спектаклей. Следовательно, не представлялось возможным найти дни для выступлений на ней моей труппы. Но я очень сожалею, что мы не будем танцевать в Москве.

— В ходе подготовки гастролей вы приезжали в Советский Союз. Почувствовали ли вы перемены в нашей жизни?

— В течение последнего года я дважды был в вашей стране. Я ощутил очень существенные изменения, и я искренне желаю, чтобы те перемены, которые я мог наблюдать, продолжались и расширялись. Творческая интеллигенция Запада приветствует политику господина Горбачева и ожидает ее результатов.

...Ш ел 1950 год. В холодной, необустроенной комнате, которую снимал в ту пору перебравшийся в Париж из родного Марселя молодой Морис Бежар, собрались несколько его друзей. Неожиданно для всех Морис произносит: «Танец — это искусство XX века». Тогда, вспоминает Бежар, слова эти привели его друзей в полное смятение: разрушенная послевоенная Европа никак не располагала к подобным прогнозам. Но он был убежден, что балетное искусство стоит на пороге нового невиданного взлета.

В десятках книг, посвященных Морису Бежару, одному из крупнейших на Западе хореографов послевоенного периода, часто приводится это давнее пророческое высказывание. Впрочем, понятие «пророчество» здесь неуместно. То было убеждение, ставшее для Бежара основой творчества. Создание современного хореографического языка, многократное, невиданное доселе расширение аудитории балетных спектаклей, а главное — привлечение к ним в первую очередь молодых зрителей сделали Бежара явлением не только культурной, но и социальной жизни.

...Последний день марта 1984 года. Полуторамесячные гастроли в Париже «Балета XX века» подошли к концу. Пока на сцене Дворца конгрессов при переполненном, как всегда, зале идет новый балет «Месса по будущему времени», мы разговариваем с Морисом Бежаром за кулисами.

— Я всегда считал, что танец отвечает насущной потребности современной публики,— говорит Бежар.— Вспомним: обновление танца в Западной Европе началось с приходом нашего столетия. Возникли параллельно два крупных течения — свободного танца приехавшей из США Айседоры Дункан и труппы Русского балета Сергея Дягилева. Именно это двойное течение возродило на Западе интерес к танцу.

Но во второй половине XX столетия развитие танцевального искусства претерпело у нас революционные изменения. Причины этого, на мой взгляд, кроются в воздействии двух ярких феноменов нашего века: обновления спорта, то есть массового возвращения публики на стадионы, и утверждения нового художественного изобразительного языка— кино. Балет оказался тем искусством, которое могло как бы вобрать в себя и язык изображений, и радость спортивного состязания. Мне с самого начала казалось, что движения танца объединяли в себе и суть кино, и суть спорта. Молодежь, приходящая на балетные спектакли, не имея еще сформированного отношения к этому виду зрелищ (в отличие от балетной публики прошлого века), получала эмоции от радости движения, которую демонстрировали на сцене танцовщики. Вот, если говорить кратко, основа моей всегдашней уверенности в силе эмоционального воздействия танца на сегодняшнего зрителя.

Не станем анализировать концепцию Мориса Бежара, оставив эту работу искусствоведам. Нам важно другое — блестяще подтвержденное им на протяжении уже более четверти века умение говорить на современном хореографическом языке с современной публикой. Острейшее ощущение современности в постановках Бежара — а их число приблизилось к двумстам — определяет в первую очередь залог успеха французского хореографа. Бежар задолго до многих сумел ощутить и передать в движении наше бурное, сложное, отмеченное бешеным наращиванием скоростей время.

Мне довелось читать немало работ, посвященных творчеству Бежара. Но лучшей из них и, как это ни парадоксально, самой объективной представляется его автобиографическая книга «Мгновение в жизни другого».

Детство Мориса Берже (псевдоним Бежар Морис возьмет уже после войны), сына философа Гастона Берже, основателя Марсельского общества философских исследований, пройдет в крупнейшем французском портовом городе. Но среди его дальних предков — выходцы из Сенегала. «Я и сегодня,— пишет Бежар,— продолжаю гордиться своим африканским происхождением. Уверен, что африканская кровь сыграла определяющую роль в момент, когда я начал танцевать: мне хочется верить, что она была подлинной причиной моего упорства в начале пути».

Танцем Морис начал заниматься в 13 лет по совету... врача. Впрочем, врач-то посоветовал сначала, чтобы болезненный и слабый ребенок занялся спортом, но, услышав от родителей о его страстном увлечении театром, подумав, рекомендовал занятия классическим танцем.

Среди преподавателей, которым Морис обязан своей непоколебимой верой во всесилие классической балетной подготовки, будут известные русские педагоги: мадам Рузанн, Любовь Егорова, Вера Волкова. На всю жизнь вынес Морис сознание важности каждодневной упорнейшей работы танцовщика. От этих лет останется у Бежара и привычка, ведя класс, употреблять часто русские слова.

1959 год стал годом судьбы Мориса Бежара. Его труппа «Балле-театр де Пари», созданная в 1957 году, оказалась в труднейшем финансовом положении. И в этот момент Морис Бежар получает от Мориса Юисмана, только что назначенного директором брюссельского «Театр де ла Монне», предложение осуществить постановку «Весны священной». Срочно специально для нее формируется труппа. На репетиции отводится всего три недели. Бежар ощущает в музыке Стравинского историю возникновения человеческой любви—от первого порыва к неистовству чувств. И передает это в ритмически нарастающем танце. «Весна священная» станет программным балетом Бежара.

Успех этой постановки предопределил будущее хореографа. На следующий год М. Юисман предложит ему значительно большее, чем постановку одного спектакля: создать и возглавить постоянную балетную труппу в Бельгии. Во Франции 1960 года не нашлось никого, кто мог бы предоставить Бежару, поверив в него, подобные условия работы. Бежар переезжает в Бельгию. «Балет XX века» родился...

В сезон 1984/85 года уникальный коллектив отмечал свой серебряный юбилей. В Брюсселе, а затем в Париже прошли выступления труппы с программами, составленными из постановок разных лет. То было время осмысления основ, на которых стоит прочное здание «Балета XX века».

— Я считаю классику базой,— рассказывал мне Морис Бежар.— Сам я получил исключительно классическую подготовку и современный танец открыл значительно позднее. Когда я стал руководителем «Балета XX века», первое, что я сделал,— обратился с просьбой направить нам советского педагога. К нам приехали Асаф Мессерер и его жена Ирина Тихомирнова.

— Когда мы приехали в 1961 году в Брюссель, то прежде всего пришли посмотреть, как вел класс Морис Бежар,— вспоминает сегодня Асаф Михайлович Мессерер.— Это было очень интересно. Он давал полноценный урок классического танца. Мы познакомились с репертуаром труппы, и нам стало ясно, что он творит на основе классики. Бежар произвел на нас впечатление очень культурного, знающего человека. Он в то время очень много ставил. Его творческая фантазия рвалась наружу. Он брал музыку различных композиторов — Стравинского, Равеля, Вебера, Моцарта, Бетховена, Берлиоза, Малера. Его работоспособность поражала, как поражала и отдача, которой он добивался от артистов. Рабочий день начинался в 9 часов утра и продолжался до полудня. Затем отдых и спектакль. Репетировали, как у нас говорят, «в полную ногу». Никто не делал для себя никаких поблажек. Все были проникнуты очень серьезным отношением к искусству. Такое вот сохранилось у меня впечатление. Хоть труппа только-только образовалась, чувствовалось, что это надолго.

С самого своего основания бежаровская труппа была многонациональной, и это не было результатом стечения обстоятельств. Это — кредо Бежара.

«Я убежден, что в настоящее время в современном мире нельзя больше создавать национальные балетные труппы. Есть, правда, несколько стран, которые в своих границах являются, по существу, континентами. Взять, например, Советский Союз. Во всех ваших крупных балетных труппах сегодня среди артистов есть представители разных народов, языков, культур. Такое возможно еще в США да, пожалуй, в Китае. Но в Западной Европе — уже нет. Иначе прекращается циркуляция новой крови, а это пагубно для развития танца».

Интернационализм является для Бежара и одной из основ творчества. Вспомним хотя бы символику его знаменитого балета на музыку Девятой симфонии Бетховена — единение людей планеты.

«Мы живем,— говорил мне Морис Бежар,— в трудную, а возможно, даже критическую эпоху развития человечества. Но я не люблю людей, которые постоянно придерживаются пессимистической позиции. Я не знаю, каким станет будущее, я не провидец, но я всегда говорил, что оно будет таким, каким мы захотим его сделать. Я верю, что Человек, будучи созданием активным, мобилизует силы, чтобы самому формировать свое будущее. Слишком многие отказываются от борьбы и становятся пассивными наблюдателями. Я считаю, что надо всегда верить и бороться. Следовательно, мой оптимизм воинствен в самом благородном значении этого слова. Сражаться надо не для того, чтобы уничтожить других, а для того, чтобы сохранить то, во что веришь».

Бежаровский балетный мир наполнен великими именами. Среди его «портретных балетов» (сам хореограф зовет их «вымышленными биографиями») — спектакли о Петрарке, Гофмане, Бодлере, Нижинском, Мольере. Любопытно свидетельство о том, как он работает над такими спектаклями:

«...Я старался стать ими. В течение многих месяцев я думал лишь о Бодлере, лишь о Нижинском. Когда я готовил балет о Нижинском, который был назван «Нижинский, клоун божий», я купил пластинки курса русского языка, начал учить его, я курил русские папиросы, я разместил у себя, где только можно, его портреты, я встретился с теми, кто знал его: с его женой Ромолой, его дочерью Кирой, его внуком Вацлавом. Я заучивал наизусть его дневник. Конечно, когда говоришь, все это выглядит наивно. Иногда я просыпался среди ночи в уверенности, что сошел с ума, как Нижинский. Я даже немного испугался! Я прочитал все книги Толстого, которые мог найти... И я убедился вот в чем: чем больше стремишься стать другим, тем больше открываешь самого себя».

Бежар черпает свое вдохновение то в обращении к традиционной музыке различных народов, то в использовании танцевальных ритмов разных континентов, то в древних легендах.

Бежар считается философом в тан-

Морис Бежар репетирует с солистами Кировского театра Ольгой Ченчиковой и Маратом Даукаевым.

це, и тому он дал множество доказательств. Но в качестве юбилейного подарка труппе по случаю ее 25-летия он преподнес не философскую притчу, а... детективный балет! Во время пресс-конференции в парижском театре Шатле в связи с мировой премьерой балета Бежар, обращаясь к журналистам, сказал: «Я глубоко уверен, что юмор всегда идет рука об руку с любовью. Я могу иронизировать над танцем лишь потому, что очень глубоко люблю его».

Любовь Бежара к танцу феноменальна. Она выражается у него прежде всего через влюбленность в исполнителя, через умение раскрыть все его потенциальные возможности. Вообще артисты бежаровской труппы преображаются на сцене, танцуют с таким увлечением, такой предельной концентрацией эмоций, что завораживают зрителей. Умение добиться удивительной самоотдачи — секрет Бежара-хореографа.

Помимо артистов труппы, среди которых на различных этапах всегда выделялись звезды первой величины, Бежар много работает с самыми крупными исполнителями из разных стран мира. Приглашая их выступить в спектаклях «Балета XX века», он не преследует лишь цели престижа. Для него работа с такими артистами становится моментом высшего вдохновения, испытания на себе их влияния. Но как он творчески щедр в отношении приглашенных «звезд»! Об этом говорили и Майя Плисецкая, для которой Бежар поставил балеты «Айседора» и «Леда» и которой он подарил партию Мелодии в своем знаменитом «Болеро» Равеля; и Владимир Васильев, ставший первым исполнителем главной роли в балете Стравинского «Петрушка», поразив зрителей возможностями своего перевоплощения; и Екатерина Максимова, раскрывшая в дуэте с В. Васильевым бежаровскую лирику, танцуя «Ромео и Джульетту» на музыку Берлиоза.

Бежар — мастер синтетического спектакля, в котором он подобно средневековому алхимику смешивает воедино все возможные компоненты сценического действа — танец и пение, драматическую игру и пантомиму, классическую, джазовую, фольклорную и конкретную музыку, предметы возвышенные и самые обыденные.

Бежар продолжает сегодня много работать. У себя в труппе, в других театрах мира. Мы, к сожалению, мало имели возможности встречаться с этим хореографом. За 27 лет существования труппы — одни гастроли в СССР. Теперь вот вторые, да и то без Москвы. Когда в 1981 году после трех лет работы в бежаровской труппе из Брюсселя возвратился советский педагог Азарий Плисецкий, хореография Бежара стала более частой гостьей на советской сцене. С разрешения Бежара А. Плисецкий осуществил ряд концертных постановок в Москве и Ленинграде. Однако ни один балет Бежара не ставился у нас целиком. Справедливо ли это по отношению к одному из крупнейших хореографов современности? Тем более что Бежар всегда подчеркивал свое желание, готовность работать с советскими артистами. Несмотря на то, что его время расспланировано на два-три года вперед, Бежар известен своим умением перекроить все во имя осуществления интересной идеи. Такой, как, например, предстоящие в конце июня совместные выступления на улицах и площадях Ленинграда артистов «Балета XX века» и Кировского театра. Это уникальное событие, которое, уверен, еще раз подтвердит бежаровские слова: «Танец — искусство XX века».

Олег КАРАСЕВ
(фото автора)

Париж — Москва.

ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

ЧОП.
ЧЕРЕЗ ЭТОТ ВАЖНЕЙШИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ И БЛИЗЛЕЖАЩИЕ СТАНЦИИ ПРОХОДИТ ВЕСОМАЯ ЧАСТЬ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА НАШЕЙ СТРАНЫ.
НО НЕРЕДКО ЭТОТ КОМПЛЕКС РАБОТАЕТ АРИТМИЧНО, С ПЕРЕБОЯМИ. ДОВОЛЬНО МЕДЛЕННО РАЗВИВАЕТСЯ ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА УЗЛА. ПОЧЕМУ?

ТЯЖЕЛЫ

БЕЖАЛ ВАГОН ОТ САХАЛИНА...

Его разгрузили в Охе... Или в Южно-Сахалинске. А загрузить было нечем. На материк через пролив перевезли порожним. И побежал вагон на запад. Его гоняли по сортировочным горкам, цепляли к другим порожним вагонам...

Где-то под Хабаровском потребовался порожняк. Из большого состава отобрали положенные по разнарядке два или три десятка... Отобрали, конечно, которые поновей, почище, чтобы не возиться с подготовкой. Оставшиеся прицепили к попутному маршруту. Среди них оказался и наш сахалинец.

А под Читой из удлинившегося в пути состава снова отобрали положенное количество вагонов для загрузки. Конечно, старались не брать с неисправными дверями, поломанными бортами, оборванными люками. Эти катили дальше.

Так наш сахалинский вагон повидал две Сибири — Восточную и Западную, перевалил через Урал, пробежал пол-Европы, а компания вокруг него становилась все неприглядднее, пока не докатились до станции Чоп. Дальше бежать некуда — государственная граница. Тут требуется порожняк под импортные грузы — весьма ценные.

Только тут, за Карпатами, хочешь или не хочешь, надо принять весь порожняк, потому что дальше спихнуть его некуда. И тут выясняется, что некоторые вагоны пробежали тысячи, а то и десятки тысяч километров совершенно зря: они нуждаются в ремонте, порою весьма серьезном.

Побитый, прокатившийся через всю страну вагон окончательно бракуется и вспять, через Карпаты, направляется в Киев, на Дарницкий вагоноремонтный завод, или еще дальше.

Если бы автор выдумал такую историю, она казалась бы неправдоподобной. Но в том-то и беда, что работники станции Чоп могут выловить в проходящих через их руки документах тысячи (!) подобных историй.

Эта пограничная станция разрослась ныне в своего рода железнодорожный комплекс. В его орбиту вошли станции Есень, Батево, приграничные разъезды и другие. Все они настолько взаимозависимы, что работают почти как единый организм. Здесь только переходов через границу пять: два на Венгрию, два на ЧССР, один на Румынию. Здесь проходит до сорока процентов всего экспорта нашей страны и каждая четвертая тонна импорта.

Бывают дни и недели, когда весь приграничный комплекс буквально задыхается. В двадцатых числах марта тут скапливалось до десяти тысяч вагонов. Стояли эшелоны и по ту сторону границы — их не могли тут принять, некуда было... Вместе с заместителем начальника Ужгородского отделения Львовской железной дороги А. М. Оберемком мы проехали десятки километров меж Есенью, Батевом, Чопом, и везде бесконечные вереницы эшелонов.

Становится дурной традицией, что в конце месяца, квартала или года тут образуются «пробки». Причин тому немало. И одна из них — недостатки в организации вагонного хозяйства. В прошлом году, например, из порожняка, предназначенного для приема импортных грузов, около десяти тысяч вагонов были выбракованы, их пришлось из-за больших поломок отправить в ремонт на специальные заводы. Кроме того, на многих предприятиях области своими силами возродили еще около семи тысяч вагонов, еще десятки тысяч ремонтировали в своем вагонном депо. А куда деваться? В дефектовочные ведомости, как бы они ни были длинны, импорт не завернешь.

В это трудно поверить, но вот мне дали официальную справку: в прошлом году из каждых десяти вагонов, полученных под погрузку, три отправлялись в ремонт!

Но и это не все. Много грузов — до пятисот вагонов в сутки — приходит к нам в контейнерах. Перегружать их можно четко и быстро. Есть специальные площадки, стоят козловые краны, под ними широкая колея и узкая — рядом. Зацепил крюками контейнер, пронес несколько метров и опустил. Стропальщик только следит, чтобы при этом стопорные штыри и специальные гнезда совпали. Прополз кран вдоль состава и все контейнеры с одного на другой перенес.

Но есть одна закавыка. К нам в среднем за сутки приходит пятьсот вагонов с контейнерами, а фитинговых платформ, то есть специально для этого приспособленных, мы можем подавать примерно лишь половину этого количества. Остальные контейнеры приходится перегружать во что придется, но чаще на бортовые платформы. При этом по бортам вагона приходится забивать стойки, закреплять груз растяжками из толстой проволоки, закручивая ее с помощью лома. Производительность труда грузчиков сразу падает раз в пять, а главное — расходуется уйма времени.

Здешние железнодорожники недоумевают: почему из года в год производство фитинговых платформ не стыкуется с производством контейнеров? Это, конечно, не значит, что надо как-то попридержать выпуск контейнеров. Наоборот, их производство надо всемерно увеличивать, а главное — заставлять шире пользоваться ими поставщиков экспортной продукции.

Люди, с которыми мне доводилось беседовать (а это все «крайние», им уже не на кого «спихивать», а надо решать), утверждают, что развитие контейнерных перевозок — одно из наиболее перспективных направлений. На этом пути многие досадные мелочи, неувязки уйдут сами по себе, просто отомрут. Если отправитель запечатал контейнер, повесил пломбу — только непосредственный получатель снимет ее. Никакого перемеривания, перевешивания, а перегрузочные работы упрощаются раз в десять.

Как говорит Оберемок, чехословацкая сторона уже сейчас готова поставлять нам в год 80—85 тысяч контейнеров, заполненных, разумеется, грузами. Теми самыми грузами, которые сегодня идут навалом, россыпью, в неудобной упаковке... Мы же на сегодняшний день можем возвратить им загруженными не более половины этого количества. И не потому, что нет грузов. Есть, и немало. Только мы их отправляем навалом, часто несем большие потери в пути, усложняя жизнь и себе, и партнерам. А все потому, что многие наши изготовители экспортной продукции не имеют или погрузочных площадок, или техники для перемещения контейнеров, или просто не додумались критически взглянуть на свою отсталость в этом деле. В результате из ЧССР мы получаем за год до 65 тысяч контейнеров, да и из них около 20 тысяч штук отправляем обратно порожними.

В прошлом году к нам из Венгрии через Чоп провезено вообще без перегрузки десятки тысяч тонн мяса. Для этого наши рефрижераторы переставлялись на колесные тележки узкой колеи и шли через всю Венгрию к местам непосредственной загрузки. А на обратном пути их тут, в Чопе, снова ставили на тележки нашей колеи. Точно так, как это делают с пассажирскими вагонами.

Думается, этот опыт надо распространять и на другие типы вагонов. Тут скрыты колоссальные возможности для роста производительности труда железнодорожников, ужесточения ответственности за сохранность грузов и уменьшение потерь.

Однако пока эти вопросы будут решаться... Тысячи вагонов по нескольку дней и недель простаивают на приграничных колеях, создавая железнодорожные пробки. За каждые сутки простоя каждого вагона на нашей территории мы платим зарубежным партнерам от 8 до 12 рублей. За одни вагоно-сутки... Поэтому уже сейчас было бы нелишним создать тут постоянный резерв порожняка, хотя бы единиц на 300 различных типов, и пополнять его новыми или выходящими из ремонта вагонами, а не теми, что катаются по всей стране в поисках последнего пристанища.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ ОТВЕЧАТЬ...

Миновав пост военизированной охраны, мы оказались под крышей бесконечного ангара. Тут начинались железнодорожные платформы. Вдоль одной из них, справа и слева, стояли рефрижераторные вагоны. Все двери, толстые, как в банковских сейфах, настежь, оттуда тянет полярным холодом.

По платформе снуют грузчики, балансируя перед собой одноколесными тачками. Они перегружают мясо из одного поезда в другой. Из венгерских вагонов, что на узкой колее, в наши.

Бычьи туши, вернее, четвертушки, пудов до пяти в каждой, погружены навалом, вагон забит ими под самую тысячи крытых вагонов. Помножьте!

Справедливости ради такие чурки следовало бы повесить на двери КБ, где проектируют крытые вагоны, украсить ими кабинеты директора и главного инженера завода, где вагоны изготовляют. Цепляет же сапожник башмак вместо вывески!

Эпизод с поленьями мелочь. Однако он показывает, как высокие инстанции отпихивают от себя всякую ответственность. И только на пограничной станции ее спихнуть уже не на кого.

В этом отношении любопытно выглядят представители внешнеторговых организаций. Их тут немало: Минвнешторга, Госагропрома, Укрснаба... Десятка полтора наберется. Да у каждого своя контора и штат. компоты и т. п.,— зарубежный поставщик заранее отпускает 0,5 процента на бой, на неизбежные потери. Так вот, эти полпроцента внешнеторговые организации забирают себе полностью, из многих тысяч тонн набирается приличное количество. А дороге, которая неизбежно что-то теряет при перегрузке, перевозке, не соглашаются уступить и одной десятой процента, хотя за недостачу она регулярно платит немалые суммы.

Больше того, зная об ответственности дороги, получатели охотно и часто шлют на пограничную станцию акты о недостачах груза. Создалась любопытная картина. Отгрузка импорта составляет менее одной пятой доли в общем объеме работы отделения дороги. Но эта доля приносит

...Е СТЫКИ

90 процентов убытков от несохранности грузов.

Возмутившись таким положением, в Чопе создали оперативную группу для выяснения причин потерь. Приходит акт о недостаче — представитель погранстанции немедленно выезжает на место. Эта практика дала ошеломляющие результаты: из каждых пяти выездов «пропавшие», «недостающие» грузы только один раз не удавалось найти. А в каждых четырех случаях из пяти ворами или лицами, которые «ошиблись в свою пользу», оказывались те, кто писал акты о недостаче. Такие случаи бывали на станциях Андижан, Подклетная, Пресня и многих других.

Конечно, подобные факты с поленьями, с закручиванием проволокой контейнеров, с бесправностью и безответственностью представителей внешторга сами по себе мелочи. Но когда ежедневно надо принять, обработать, перегрузить до тысячи двухсот вагонов, а отложить на завтра ничего нельзя, потому что завтра будет еще столько же, а послезавтра еще...— каждая мелочь становится нетерпимой.

Заведующий промышленно-транспортным отделом Закарпатского обкома партии Г. И. Зуенко вспоминал десятки других «тупиковых» ситуаций. К примеру, на 12 января было заключено лишь 30 процентов контрактов — как же планировать работу дороги? Каждый год в августе — сентябре почти полностью прекращается подача с нашей стороны крытых вагонов, а грузы из-за рубежа продолжают идти. Большие трудности со специальной техникой, многие автопогрузчики — до половины имеющихся — постоянно в ремонте, да и те, что в ходу, выработали по два-три моторесурса. А объем перевозок растет, только в нынешнем году поступление импорта должно увеличиться еще на 10,4 процента.

крышу. Грузчик крюком выдирает из кучи одну, крюк позвякивает, как лом об лед. Уложив мясо на тачку, грузчик бежит не к двери вагона, что напротив, а сначала далеко по платформе — к весам. Бросает тачку, шаг в сторону — и смотрит на учетчицу. Та что-то записывает и кивает. «Вес взят...» Сгоняй тачку с весов — другие на очереди.

Меня познакомили с бригадиром грузчиков Л. П. Солноки. Ласло Павлович — опытный работник, у него в бригаде 39 человек. При механизации — лом да тачка — они дают до полутора норм за смену. Норма, между прочим, 24 тонны на каждого, независимо от того, перегружает он мясо или битую птицу, обувь или консервы...

— С утра я тут был, когда эшелон только подали,— говорит начальник дистанции погрузки и выгрузки А. А. Ярошевич.— Часа три прошло всего, и вот уже несколько вагонов разгружены,— похваливает он бригаду.

— Могли бы и больше,— явно не в тон ему отвечает Солноки.— Вместо того, чтобы перегружать из двери в дверь, мы втрое больше бегаем по платформе.

— А ты скажи, сколько вся бригада просидела, ожидая экспертов.

— Сегодня что... Вот когда прибывает колбаса и в каждой десятой коробке начинают пересчитывать количество палок — можно и час потерять.

— А для чего на один вагон четыре пломбы ставить? Да еще проволокой запор обматывать, да еще скобу вставлять?

И началось! Тут даже Ярошевич не выдержал. Стал показывать какие-то длинные поленья, которые якобы предусмотрены инструкцией как дополнительные вагонные запоры.

...Есть в крытых вагонах лючки. Они запираются изнутри. И вот, надо полагать, кто-то когда-то проник через такой люк в вагон с импортным грузом. Люк мог быть неисправным, или забыли закрыть?.. В недрах МПС родилась инструкция: крытые вагоны считаются технически подготовленными для перевозки импортных грузов лишь в том случае, если все люки закрыты не только на стандартные запоры, но еще заблокированы вот такими лесинами, обкрученными толстой проволокой.

— На каждый вагон идет одиннадцать таких брусьев, уйма проволоки, а главное — ручного труда,— жалуется начальник дистанции.— Мы же в течение суток отправляем полА занимаются тем, что регистрируют, какой груз и куда проследовал. Пищевые продукты проверяют на качество. Но как?

Скажем, та же бригада Л. Солноки раскрыла вагоны с яблоками и стала перегружать в наши вагоны. А представитель Союзплодимпорта взял пробу и удалился. Через час прибегает: «Стой! Яблоки не годятся — перегружай обратно!» А труд? А время? А куда девать груз, ведь колеи не склад! Но его это не касается, ни на какие иные действия он не уполномочен.

Вот свежий пример. В конце марта из Югославии стали поступать вагоны с автомобильными аккумуляторами. Когда-то с этим грузом была беда. Его отгружали на поддонах, в пути они бились. Пришлось исписать тонны бумаги, добиваясь того, чтобы аккумуляторы поставлялись в более надежной упаковке — в кассетах. Два года все было в порядке. И вот нынче аккумуляторы снова пошли на поддонах, и снова бой. Когда писались эти строки, в Чопе на путях стояли сто (!) вагонов с аккумуляторами, стояли десятые (!) сутки, а представитель Минавтопрома, подтвердив наличие боя, на этом свою задачу выполнил. Несколько дней судьбой этого груза занимался Закарпатский обком партии. И таких примеров много.

Странная создалась ситуация. Упаковку груза определяют совместно с зарубежными поставщиками представители внешнеторговых организаций. Но если по причине плохой упаковки груз приходит в негодность, расплачивается железная дорога. Помните старую поговорку — железная дорога всегда права? Увы, только не при перевозке импортных грузов. Можно приводить множество примеров. В одном из контрактов, подписанных представителем Союзплодимпорта, значилось, что «бутылочное пиво поставляется в прочных коробках из трехслойного картона, без внутренних перегородок, по 20 бутылок в коробе». А наши стандарты предусматривают перевозку такого товара «в жесткой деревянной таре с перегородками».

Разумеется, в картонке без перегородок после сортировочной горки из каждых двадцати бутылок могли остаться целыми десять или меньше. Подобный контракт можно было подписать лишь после хорошего опробования товара. Есть нелепости, с которыми согласны все, но устранять их не хочет никто. Когда продукты в стеклянной таре — вино,

С КАКОЙ СТОРОНЫ ПОСМОТРЕТЬ

...Если смотреть с Сахалина или Чукотки, то станция Чоп — самый дальний конец нашей страны. Но если взглянуть со стороны наших европейских торговых партнеров (а здесь проходят грузы не только трех приграничных стран, но и Югославии, Австрии, Италии и др.), то Советская наша страна с Чопа только начинается. Это ее парадный вход, потому что нет у нас иного пункта со столь мощным потоком экспортно-импортных грузов.

В городе Чопе железнодорожники составляют 80 процентов всех работающих. Долгое время город практически не развивался. Это не позволяло обновлять кадры, приглашать нужных специалистов, мешало расширению путевого хозяйства. А объемы перевозок росли. В Ужгороде, Чопе, Мукачеве, окрестных поселках люди уже привыкли к тому, что их поднимают как по тревоге на помощь железнодорожникам — то бороться со снежными заносами, то ремонтировать и мыть вагоны, то перегружать десятки эшелонов зерна, хлынувшего вне графиков и расписаний... С каждым годом положение осложнялось.

И только в последнее время стали просвечивать кое-какие надежды. Благодарный характер у наших людей! В обкоме партии, в отделении дороги, в будке маневрового диспетчера, что стеклянным фонарем вознеслась над разлинеенным рельсами пространством,— везде уважительно и с благодарностью говорили: «Сам министр товарищ Конарев разбирался. Спасибо ему, сдвинул проблему. Правда, до ее решения далеко, но главное — появилась надежда!»

Председатель Ужгородского райисполкома, на территории которого расположен приграничный узел, Е. Д. Томенчук рассказывает:

— В Чопе построено вагонное депо, строится локомотивное депо, на станции Есень создается пункт перестановки вагонов с узкой колеи на широкую... Но главное, начали решаться и социально-бытовые проблемы: три миллиона отпущено на жилье.

— Но при всем при этом,— мой собеседник пожимает плечами,— с бодрым рапортом я бы повременил. Какие-то важные решения приняты, но при их осуществлении за каждую мелочь приходится бороться, хлопотать, доказывать. То, что подписал министр, должно еще пройти через аппарат... Смотришь, там урезали, там ограничили, «усреднили», каждый норовит что-то отщипнуть.

Важный перекресток нашей международной торговли (кроме поездов, через Чоп и далее за границу ежедневно проходит до 15 тысяч автомобилей) многое теряет из-за несогласованности действий разных ведомств, даже подразделений одного ведомства. Построили депо. Но подбирать оборудование стали лишь тогда, когда здание надо было вводить в строй. Котельная в Батеве несколько раз «сдавалась», но и в эту зиму сдана не была. Выстроенный тут поселок на три тысячи жителей не имеет ни клуба, ни столовой... А сколько ключевых вопросов, жизненно важных для Чопа, решать надо за Карпатами — в Москве, Львове, на станциях погрузки экспорта, в кабинетах иных ведомств!

Все, с кем мне доводилось тут беседовать, едины в мнении, что развивать этот пограничный узел сообщений можно только в комплексе. Нужен единый координирующий орган — совет или комитет, создание которого — первейшая задача руководства МПС. Такой орган смог бы работать и на общественных началах собираться периодически, но его рекомендации, их широкая огласка стали бы содействовать комплексному, целенаправленному развитию всего приграничного дорожного хозяйства. В такой орган должны послать своих представителей все заинтересованные ведомства, причем послать работников высокого ранга, которые были бы правомочны принимать определенные решения.

Особое по своим задачам Ужгородское отделение Львовской железной дороги должно располагать и необходимыми средствами для их решения.

Станислав КАЛИНИЧЕВ,
соб. корр. «Огонька»

ЦВЕТНЫЕ СНЫ

КРАСКИ БЫЛИ ЧИСТЫМИ И ЖАРКИМИ. ДАЖЕ ПОДУМАЛОСЬ: «САРЬЯН...». И ТУТ ЖЕ: «НО С ЧЕГО БЫ ЗДЕСЬ, В КОРИДОРАХ «ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ»?» КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТО КАРТИНЫ НЕ ТОЛЬКО НЕ ПРОСЛАВЛЕННОГО МАСТЕРА, НО И ВООБЩЕ НЕ ПРОФЕССИОНАЛА. И ВСЕ ЖЕ — ЭТА ЛЕГКОСТЬ, КОЛОРИТ... НА ЩИТЕ, ИЗВЕЩАВШЕМ ОБ АВТОРЕ РАБОТ, БЫЛО СКАЗАНО: ЖИВОПИСЬ ВЫПОЛНЕНА ДЕВОЧКОЙ, КОТОРАЯ ТОЛЬКО ПОШЛА В ПЕРВЫЙ КЛАСС. Я УЗНАЛ АДРЕС МАШИ КУБЛИК И ВЗЯЛ БИЛЕТ В ДНЕПРОПЕТРОВСК...

Лев ШЕРСТЕННИКОВ, фото автора

В тесноватой комнате, заваленной повернутыми к стене картинами, исписанными листами картона, полувыдавленными тюбиками краски, горшками, гипсовыми деталями, цветной рванью — атрибутами мастерской художника,— на белизну холста ложились краски. Они не отражали того, что художницу окружало в мастерской или виднелось за окнами. Под кистью возникал зеленоватый холмистый луг, теряющаяся в траве дорога, тополя, неяркое солнце... День на картине выдался предосенний — один из последних, еще теплых деньков... Краски ложились легко: без натуги и словно без видимой цели. Вот так «бесцельно» журчит ручей, ветер перебирает листья деревьев, стекает дождь по осенним окнам или слышится далекий грай грачей... Без видимой цели, но исполненный гармонии. Лада...

Вот, наверное, слово, которым до́лжно охарактеризовать работы Маши. Сюжет в ее картинах не цель. Хатка, тополя, стога, дорога, река или просто лужа — все это повторяется на ее полотнах часто. Ни хаты, ни речки не индивидуализированы. Они — кубики ее строительного набора. Но работу никак не назовешь конструкцией. Каждая из картин удивляет цельностью и гармонией цветов. Рождается ли настроение сиреневых сумерек, розового заката, сочетающегося с прозрачными, жемчужными красками уходящего дня, или торжествующего, пронизанного светом весеннего утра — в каждой царит согласие. Лад... Откуда же берется в красках столько изящества и теплоты, искренности!

Маша родилась в семье художника. Михаил Алексеевич, ее отец, окончил художественно-графический факультет Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена. Получили художественное образование брат и сестра Михаила, дядя и тетя Маши. Словом, живопись—это «в генах». Но гены генами, а жизнь все объясняет и проще, и понятней. Когда другие дети играют крышками от кастрюль, Маша играла тюбиками с краской. В два с половиной года она, как и большинство ее сверстников, малевала чем попало и на чем попало. Но уже тогда и отец, и его друзья-художники обратили внимание на определенную закономерность, проявляющуюся в рисунках. Один сплошь построен на прямых линиях, другой — на дугах, третий — на сочетании пересечений. Находили в этих абстракциях что-то от гобелена. Рисовала, конечно, Маша и принцев, и принцесс. Но тоже: это платье построено на треугольниках, то — на кругах. Стали появляться орнаменты— цветочки, кружочки, крестики... Пока папа работал над картиной (мама учительница — целый день в школе, старший брат там же, а маленькую надо чем-то занять), Маша смешивала краски на большой палитре, размазывала по картонкам. Поставил как-то отец для Маши натюрморт. Объяснил, что такое свет, тень, полутень. Вот это триединство и составляет изображение предмета. «Ага!»— сообразила Маша. И стала все предметы в уме на три части делить. Яблоко: свет — желтая краска, полутень — оранжевая, тень — красная. Положила три краски — яблоко «горит», прямо вываливается с полотна. Нарисовала кувшин — сам-то кувшин был так себе, зацепиться не за что— а тут он играет, глазурь блестит, цвет преобразился, характер в нем, а еще побежал по кувшинчику придуманный орнамент — настоящий восточный кувшин, а таких Маша и в книжках-то не видала. Понес отец работы приятелям, ничего не говоря пока об авторстве. Те смеются: «Ты что, старик, под Матисса начал работать!» Тогда он показал: вот, мол, Матисс, за папины штаны прячется. «Это ты брось загибать. Под ребенка вздумал работать — так и скажи...» Усмехнулся отец: «Под ребенка... Если б я так мог...»

Кублик-старший вспоминает, как он в детстве учился рисованию. Ставят предмет. Его нужно максимально точно изобразить с соблюдением пропорций, цвета. Скучно...

Когда он сам стал ставить детям натюрморты (в его крохотной мастерской собирается подчас по десять — двенадцать ребятишек со всей округи, кто хочет — рисует сам, другие смотрят), то не требовал точного изображения. Хотел одного, чтоб ребятишки могли красиво организовать холст. Они могли менять и форму предметов, и количество их, и цвет. Каждый рисовал с в о й кувшин, с в о е яблоко. И как это ни странно, такие вольные требования стали приводить ребят, ту же Машу, к лучшему владению и рисунком (об этом я могу судить по более поздним ее работам). От условных обозначений Маша чаще стала прибегать к реальной форме. Но этот подсознательный переход не сковывал ни ее фантазии, ни видения цвета.

В пять-шесть лет Маша стала ходить с отцом на этюды — «привыкать к живой природе». Живут Кублики на одной из окраинных улиц Днепропетровска — Нарымской. Маленькие, напоминающие деревню домики, палисадники, за домами косогоры, овраги. До облюбованной балки — пятнадцать минут ходу. Там и костер можно разложить, и чай вскипятить. Идут иногда на целый день, и куча детей с улицы с ними... Смотрю на написанный там пейзаж. Фантазия ребенка и здесь явно преобладает над натурой. Но небо... Такое сырое, живое небо невозможно изобразить, не увидев. А впрочем, как знать...

Легко ли стать художником! Я задаю этот вопрос отнюдь не в риторическом плане, и, если хотите, не в возвышенно-духовном. Мол, надо талант иметь, трепетную душу, восприимчивый и жадный до впечатлений глаз... Это все так. Тут нечего и доказывать. Но всего этого мало. Бесконечно мало. Чтоб стать художником, нужно быть сумасшедшим, готовым пойти на все испытания судьбы, даже на нищету. Хотя об этом не принято говорить вслух...

Я уже описывал крохотную комнатку, служащую мастерской для художника и его детей. Строил когда-то этот дом отец Михаила, Алексей Матвеевич, вскоре после войны. Старик, ну тогда-то он не был стариком, прошел всю войну без единой царапины, был и танкистом, и шофером. В сорок третьем тот же Днепропетровск освобождал, тогда, наверное, он и запомнил и город, и Днепр, может, тогда и запало желание когда-нибудь обосноваться здесь навсегда. Все так и получилось. Годы быстро летят. Вырастили троих детей. Тяжело заболела жена, а там и умерла. Время есть время... Кто знает, что там, в грядущем, что оно нам припасло. Не думал, наверное, и Алексей Матвеевич, что превратится с годами в беспомощного инвалида. Инсульт. Обрывочная, крайне затрудненная речь. Едва послушные ноги, тело.

У Миши, сына, дела складывались тоже неважно. Работал в худфонде— пришлось уйти, законфликтовал с начальством. В доме двое малых детей, дед — инвалид. Маргарита Андреевна — учительница. На свой заработок тянет всю семью. Приходит из школы, сил уж ни на что по дому не хватает, а еще кучи тетрадей проверять. Известно, словесница... Кормить, поить, следить за домочадцами взялся Михаил. Решил к тому же: пора серьезно браться

за живопись. Вот и работает он в мастерской, супы варит, носы утирает, и снова — к холстам. Работы его стали появляться на выставках: в области, в республике, даже на всесоюзной. Но ты не художник, пока ты не член Союза. На живопись тебе не будет предложен заказ, и в художественном салоне не вывесят твоей работы для продажи... Чуть забегая вперед, скажу: в одном из городских музеев есть небольшая стенка с работами Кубликов «Рисует наша семья» — Михаил Алексеевич, Слава, Маша. Самые добрые отклики в книге отзывов. Это поэзия. А проза — любая экспозиция, любая выставка только за счет выставляющихся, зачастую включая сюда и организацию экспозиции, и перевоз работ в другой город... Трудно, очень трудно перейти ту грань от непризнания и, прямо скажем, нужды к относительному благополучию художника.

Я уже предвижу возражения некоторой части читателей: так что ж, искусство для того, чтоб торговать им, чтоб с его помощью набивать живот? Не будем лицемерить: художники — живые люди, им и есть нужно, и одеваться, и кисточки покупать. И средства пропитания добываются реализацией произведений. Но что является произведением, а что — нет, решает не потенциальный покупатель, вульгарно говоря, «потребитель искусства», а нéкто и нéгде...

Но отступим от этой не вдруг решаемой проблемы и вернемся к

У РЕКИ.

семье Кубликов. Стараниями отца и помощью друзей удалось организовать показ работ в Днепропетровске, в Москве. Висела выставка Маши в ЦДРИ, перед этим несколько дней экспонировалась на Крымском валу, видели ее художники в подмосковном Доме творчества. Было высказано немало добрых слов. Многих, наверное, как и меня, поражает: ребенок и масло.

— А чего ж тут удивительного,— говорит отец.— Масло детям понятнее, чем акварель, фактурнее, есть белая краска. Техника акварели сложна ребенку...

Но именно то, что ребенок избирает масло, это его сразу выкидывает из возможных детских выставок, конкурсов. «Масло не принимаем,—говорят их организаторы,—только акварель». Почему? Стереотип, давление инструкций, вкусовщина!

Вкусовщина — вообще-то страшная

Немало времени проводит в мастерской с детьми Машей и Славой Михаил Алексеевич Кублик.

вещь, а в искусстве — просто губительная. Любое просвещенное мнение, сколь бы высоко сидящему человеку оно ни принадлежало, не может быть полностью освобождено от личных пристрастий, то есть вкусов.

Не скрою, среди отзывов о работах Кубликов, особенно когда те демонстрировались в одном из кинотеатров Днепропетровска, куда приходит люд кино смотреть, а не какие-то картинки на стенках, и зачастую воспринимает их как повод покуражиться, были и более откровенные высказывания: «Мазня заслуживает самой жесткой критики... оставляет гнусное впечатление своей исключительной бездарностью... производит тягостное впечатление, как в нашей стране переводят холст и краски...» Каждая такая фраза кипит желчью! Ну с чего бы! Не нравится — отойди, подумай, а вдруг ты не прав потому, что невежествен... Но невежество не способно сомневаться в своей правоте, как и не способно допускать иного, нежели у него, взгляда на вещи.

Так что же с Машей! Да ничего. Ребенок она как ребенок. Красками и живописью вовсе не бредит. И художницей быть совсем не собирается. Рисует по вдохновению. Быть может, завтра это вдохновение у нее уйдет навсегда, и она никогда не вспомнит свои детские цветные сны. А может, наоборот, вспышка ее одаренности перельется в зрелый талант, серьезное занятие, а впереди ее ждет настоящая слава! Все может быть... А если случится то самое промежуточное, которого больше всего боится ее мать! И от искусства оторваться не сможет, и до старости не сумеет пробить себе дорогу! Тяжкий это крест...

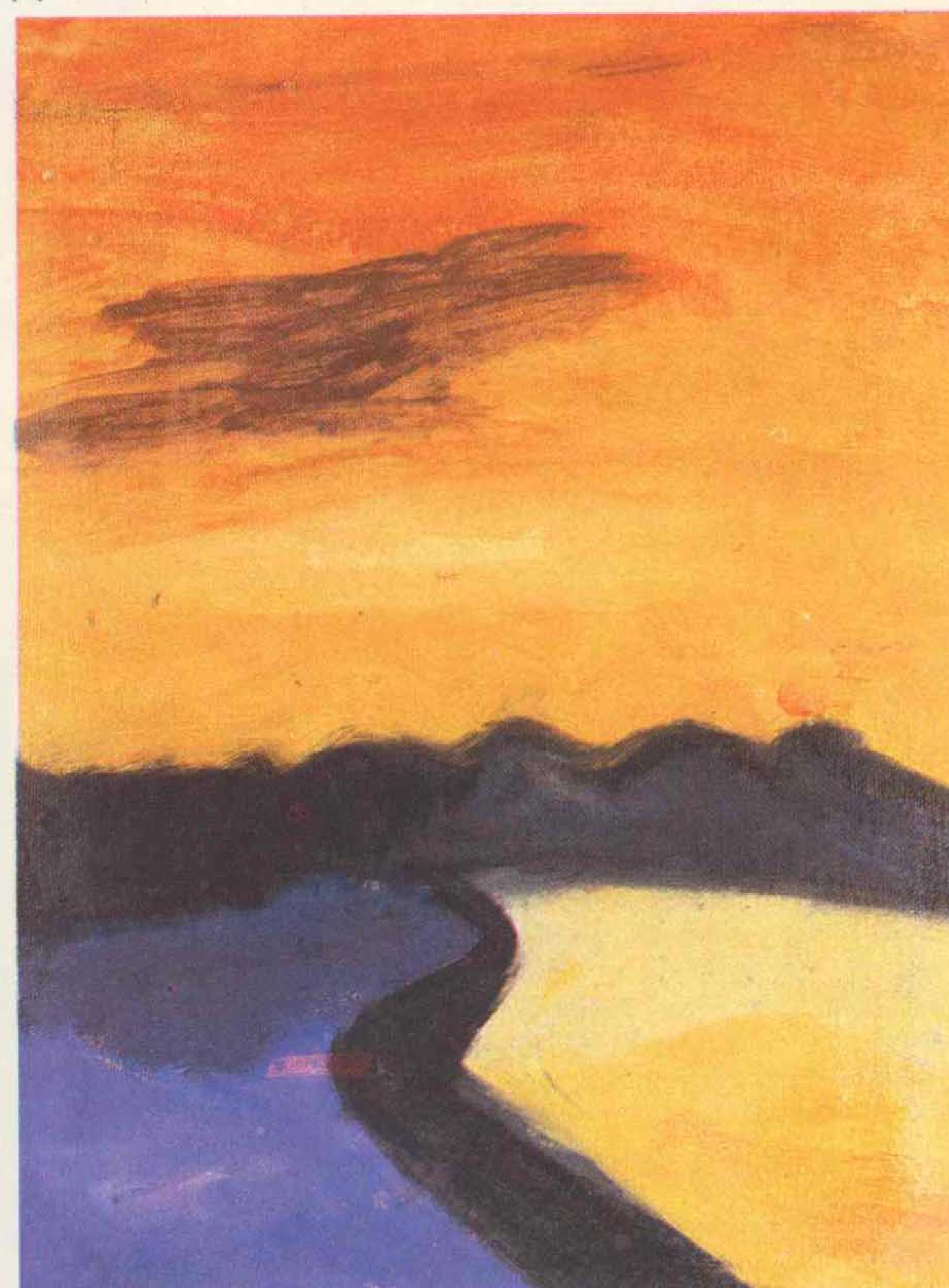
Я увидел эту выставку в «Пионерской правде», куда ее перенесла из ЦДРИ Наталья Николаевна Красильникова, художественный редактор газеты. Зрители — те почти все удивлены, обрадованы, взволнованы, ведь виден дар... В родном же городе судьба Маши мало кого волнует. И помощи в развитии таланта никакой.

Почему же мы подчас так черствы друг к другу, так равнодушны, так нелюбопытны!..

ЦВЕТЫ.

МОЯ УКРАИНА.

ДОРОГА.



ПЕСНИ В НАСЛЕДСТВО

Мария МОРДАСОВА,
народная артистка СССР

Самое дорогое в моем доме — письма от совсем незнакомых мне людей. За долгие годы их скопилось великое множество, но ни одно я не выбросила — вот ответить всем не смогла, это правда. И когда присылают новые песни, частушки, для меня — радость несказанная. Какой же талантливый наш народ! А коль талантлив, то и щедр душой. Поэтом нужно родиться, чтобы такие слова подобрать:

«Аленькая ленточка к стеночке
льнет.
Иван свою Марьюшку в дом
к себе ведет...»

Или: «на серебряной реке, на златом песочке...», «на заре заря зорила...».

Песня жива памятью народной: бумага сгорит, истлеет, записи пропадут, а она останется. Мне в наследство от мамы и всего-то досталось — ее песни. А наследству этому цены нет. И сейчас, когда пою старые русские песни, думаю: каким же чудом вся жизнь в них вместилась, каждая ее крохотная частица? Вот и родительские наставления — как деликатно все говорено: слушай да смекай. В песне «По дворочку Дуня шла» поется, как красавица зажгла сердце молодцу, а молодец тот был не глуп — «зашел к Дунюшке не вдруг». «Не вдруг» — слово в песне несколько раз повторено: присмотрись к невесте хорошенько, потом и заходи в дом.

Или девушка поет, обращаясь к своему суженому: «Ой, златокрыленький, ...ох, не проси, голубь, да меня...» — коли полюбил, люби по-настоящему.

«Златокрыленький» — так любимого в песне величали, а еще ватолинкой, соколом, гулюшкой, залеточкой, золотаюшкой, ягодинкой, аюшкой, миленком, дролей, дорогунчиком. В каждой области, в каждом селе посвоему: в Тамбовской, где я родилась,— «шурой-шураньком», в Воронежской — «душаней».

Сердце радуется, что пробудился у молодых интерес к русской песне. Но вот что стала замечать: неверно их учат петь. Совсем недавно была я в Москве, пригласили меня на вечер, где выступал молодежный фольклорный ансамбль. Девчата молодые, сильные, а поют старушечьими голосами. Не их вина в том: слышали-то они только бабушек, которые еще помнят старинные крестьянские песни. Никогда не надо копировать старческие голоса и заглушать собственные — пойте красиво, молодо!

И вторая беда фольклорных ансамблей — молодые певцы, стараясь подражать крестьянскому говору, искажают, утрируют его. К примеру, «чавокают»; слово получается резкое, тяжелое, как камень, а «че» нужно мягко, нежно выпевать.

Прежде песня жила в деревне. В моем родном селе Нижняя Мазовка пели и молодые, и старики, да еще соревновались: кто кого перепоет. А рядышком к нашему селу прилепилось богатое село Черняное — песенное-перепесенное. Гармонистов одних было не счесть, возле каждого дома гармошка играла. На улицу выйдешь (красота какая!) — и напоешься, и напляшешься.

Побывала я у земляков: деревня красивая стала, дома добротные, наличники резные, а живут скучно. Закрылись в своих теремах — ни песен, ни гармони не слышно. И ведь так не в одной моей деревне — сытое житье не всегда в радость. Песня — это ведь тоже здоровье — и нравственное, и физическое.

Хорошая песня так бывает нужна в трудное время! Помню одно письмо военной поры. Писали мне солдаты о том, что в освобожденном от фашистов городе, уже вдали от Родины, случайно нашли мою пластинку и как плакали и смеялись, слушая ее, какой силой и надеждой наполнялись их сердца.

И наш Государственный Воронежский русский народный хор был создан в январе 1943 года. Еще зарево пожарищ полыхало над Воронежем, а в прифронтовом селе стали собирать лучших певцов со всей области. Это были замечательные талантливые люди: Анастасия Лебедева — уроженка села Александровка, где набирал певцов для своего хора Пятницкий; певица и сказительница, автор нескольких книг Анна Королькова. Много песенниц пришло в хор из старинных воронежских сел: Клеповки, Пузева, Гвазды, знаменитых тем, что в них когда-то строились первые корабли петровского флота. Вызвали телеграммой и меня.

Путь мой на профессиональную сцену был непрост. И думать не думала, что артисткой стану. В своем родном селе работала дояркой. Что и говорить, нелегко приходилось: и корма таскали на себе, и воду из обледеневших колодцев. С той поры руки у меня,— как паспорт,— так и остались крестьянскими, не артистическими. А все же любая работа в радость была, и очень я гордилась тем, что меня называли ударницей, стахановкой, посылали на слет передовых колхозниц. Только раз случилось со мной несчастье — надорвалась я в поле: снопы убирали, время было горячее, страдное. С поля прямо в больницу и попала и после уж работать на ферме не могла.

В семье за старшую считалась, нужно было ей помогать. И устроилась я в столовую тамбовской артиллерийской школы. Привыкла с песней работать, что ни делаю — готовлю, мою — все пою. Слышу, как обо мне говорить стали: «Вот чудну́ю взяли»,— а поделать с собой ничего не могу. А в училище готовился вечер художественной самодеятельности, пригласили выступить и меня. Песен у меня сундук целый, а вот платья праздничного не было. Помню, сестра кофточку розовую дала, юбку холщовую, очень уж смешной был у меня наряд. А на сцену вышла, как разразилась песнями, в зале — аплодисменты, небывалый хохот. Я за кулисы убежала и расплакалась, думала, надо мной посмеялись.

А потом в Воронеж уехала, поступила на швейную фабрику швеей. При фабрике в то время был очень хороший хор. Так войну встретила. Не помню, сколько приходилось тогда спать: по двенадцать часов в день шили солдатские бушлаты и шинели, а по вечерам пели в госпиталях для раненых, песнями провожали новобранцев на фронт.

В Воронежском народном хоре я тридцать лет возглавляла частушечную группу. Частушки — жанр особый. И называться частушками веселые озорные песенки стали не так давно, а прежде в Тамбове их звали прибасками, в Воронеже — присказками, в Саратове — пригудками. Каждое слово в частушке — меткое, золотое. Ее нужно не только петь — играть на сцене, под каждую частушку есть свои «проходки», «шаги», «дроби» — больше двух десятков наберется.

Мы, артисты, соревновались, кто больше запишет народных песен, частушек, да и сами нередко становились их авторами. Ездили и выступали по всей стране, и за многие годы скопился у меня огромный песенный «багаж». Горько мне было, когда все это богатство отнесла я в наше воронежское издательство, а там ответили, что никому, мол, сейчас эти песни не нужны — «потеряли свою актуальность».

Спасибо Москве — в 1983 году в издательстве «Советский композитор» вышел мой песенный сборник. Но частушек, страданий, песен обрядовых, хороводных, игровых, плясовых, шуточных у меня собрано множество, и нельзя допустить, чтобы затерялись, позабылись они. Вот ведь досадно: приезжают люди в Воронеж, разыскивают меня, спрашивают, где можно достать сборники песен, а их нет. Мало выпускается и книг прекрасных поэтов Никитина, Кольцова. А ведь их поэзия, народные песни — гордость воронежской земли.

Хотелось бы мне вот о чем сказать. Подчас в иных самодеятельных да и в профессиональных коллективах о сценических костюмах заботятся больше, чем о песенном репертуаре. По принципу: чем больше костюмов и чем они дороже, тем эффектнее выступление. И сколько же государственных денег тратится на них! Да, мы не были так богаты и расточительны, хотя и выступали в красивых платьях. Первые участницы Воронежского хора выходили на сцену в одних и тех же платьях тридцать лет! И как их берегли! Я купила старинный воронежский наряд у одной крестьянки. Она плакала, когда расставалась с расшитым узорами, блестками платьем, видно, наряд ей от матери или от бабушки достался. Мне уж и жаль-то ее стало, говорю: «Нет, не могу взять платье, раз такое оно памятное». А она в ответ: «Бери, я ведь и рада, что в хорошие руки отдаю, а все — горько». Я и по сей день в этом платье выступаю.

О бережливости говорят много, на словах-то все за нее ратуют. А дело, наверное, не в какой-нибудь коллективной ответственности — каждый за себя должен отвечать. Мой отец частенько сокрушался, говорил: «Дед сапоги семьдесят лет относил, и они как новенькие гляделись, а я свои в тридцать — как огнем сжег». Сейчас смешным это покажется, но так было.

Когда я только начинала петь в хоре цвейников, его руководитель очень настойчиво пытался обучить нас украинским песням. А они нам ну никак не давались. Пришел новый руководитель — Мусорин, послушал нас, подивился и спрашивает: «Кто вас заставил эти песни петь, вы ведь все из деревни — давайте свои». Почему я вспомнила об этом? Петь нужно родные песни, тогда они раскроются во всей красе. Мы в таких песенных лугах бродим, в таких цветах живем, а своих богатств не знаем. И по радио, и по телевидению, и с эстрады звучат одни и те же народные песни, а их у нас сколько! Молодым певцам хочется испробовать свои силы — и я, дескать, спою не хуже Руслановой. А зачем? Природа, и живая, и творческая, не терпит повторов. Русланова нашла свою песенную Волгу, взмахнула платком — никого не повторила! Ищите и вы.

Фото Игоря ФЛИСА

В прошлом году журнал предложил читателям вопросы:

— Кто Вы — в самой глубокой и вместе с тем конкретно Вашей сущности?

— Ради чего Вы живете? Цель Вашей жизни? Ваши планы на ближайшее и — если они есть — на отдаленное будущее?

— Что Вы считаете главным препятствием в поисках счастья в семье, в выборе любимого человека, в учебе, в работе? Эти препятствия по преимуществу в Вашем характере, воспитании и т. п. или скорее вне Вас? В жизненных обстоятельствах? В каких?

— Что является самым большим несчастьем Вашей жизни?

— Какова самая острая проблема Вашей жизни?

— Какова главная ошибка Вашей жизни? Она исправима?

— Как Вы переносите одиночество?

— В чем Вы видите счастье?

Вопросы вызвали большую читательскую почту, сотни писем продолжают идти в редакцию.

Социолог А. Мидлер, автор этих вопросов, комментирует пришедшую почту и предлагает читателям встречаться на наших страницах для помощи друг другу.

ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Рисунок Сергея ТЮНИНА

Александр МИДЛЕР,
кандидат философских наук

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ,
где автор
просит коллективный Разум
помочь решению самой распространенной
из личных проблем — одиночества,
о котором предлагает свои размышления
и новую форму
реальной помощи друг другу.

Публикуя в 1986 году в «Огоньке» социологическую анкету и статью «Если говорить, то бесстрашно и о главном», я не предполагал такого масштаба и такой остроты читательской реакции:

«Вы предлагаете откровенно описать трагическую ситуацию, которая потрясла мою жизнь. Не будьте столь наивны. Трагических ситуаций можно увидеть сколько угодно. Вы готовы бороться за тех, кто невинно-ошибочно осужден?

За тех, кто не может защитить свои права?

За тех, кто безуспешно борется со злом и сам оказался под ударом?..»

«Вы говорите, что часто причины наших бед — невежество, лень, трусость. А вы можете преодолеть эти качества в себе?.. Реально помочь конкретному человеку, одиному и всеми брошенному?»

«...Даже если жизнь проиграна?»

«...Если нет здоровья, дома, работы, надежды?»

«Когда рядом смерть ребенка, мужа, своя!»

Я ни в коей мере не претендую на роль пророка. Хочу сказать, что на многие из этих вопросов дают ответ сами же читатели, только другие. Ведь проблемы, о которых идет речь, существуют тысячелетия, и их решали люди во все времена. Я предлагаю обратиться к коллективному Разуму. Начну с такого письма:

«Что, если «Огонек» предоставит свои страницы для разговора читателей друг с другом? Скажем, кто-нибудь расскажет о себе, о своих трудностях, пусть и без претензий на общезначимость. Понятно, что для каждого его собственная проблема — главная. А с ним в диалог мог бы вступить любой желающий. Может быть, редакция возьмется за благородное дело помощи в установлении человеческих контактов. Ведь как здорово найти близкие тебе души! Вместе с близкой тебе душой легче касаться личных несчастий, бед и трагических проблем и решать их», — пишет тридцатидвухлетний Г. Кузнецов, социолог из города Альметьевска.

Я согласен с Г. Кузнецовым. Хочу предложить вам, читатели, экспериментальную форму для встречи на страницах журнала БЛИЗКИХ ДУШ и главным образом для их реальной помощи друг другу. Многие люди предупредили меня в этом смысле о принципиальной трудности. Они определили эту трудность так: практически чужому горю не поможешь. Главным образом это невоз-

можно потому, что горе интимно, индивидуально. Это несчастье именно этого человека и никакого другого. Да-да, хорошо помню, как в первой же строчке «Анны Карениной» Толстой говорит: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Однако сотни полученных нами писем касаются горестей, часто похожих друг на друга. Ну, разумеется, личные трагедии имеют явный отпечаток индивидуальности. Но в калейдоскопе трагедий среди великого их разнообразия, где каждая со своим лицом, мелькают удивительно знакомые. Встречаются даже типы трагедий, за которыми стоит группа подобных. Честное слово, есть смысл продумать типологию несчастий. Это поможет понять свое несчастье, увидеть его среди ему подобных как бы со стороны. И, что еще важнее, посмотреть, как другие справляются с бедами, такими, как наши, ибо есть общее в человеческих несчастьях.

Во-первых, беды распадаются на полюса. На одном — те, что не зависят от нас, на другом — те, что от нас зависят. Одно дело — объективное несчастье: люди во время грозы работали в поле, и кого-то одного убило молнией. Другое дело — субъективное: жизнь улыбается человеку, а ему чего-то не хватает.

Во-вторых, в огромной мере разрешение личных проблем зависит от того, насколько тонко у страдающего человека развито ощущение: он должен победить внешнего врага или себя.

И, наконец, третье — основное. По прочтении сотен писем становится ясно: человеку не выйти из личных несчастий, если он оказывается не способен верно оценить, что он лично может изменить, а что — нет. Чувствовать это сейчас человеку нужно чаще, чем в любые прошедшие времена. Это связано с растущей концентрацией жизненных событий, в том числе — взглянем правде в глаза — и событий неприятных.

Важнейшая проблема: интуитивно нащупать, что зависит от нас и что от нас не зависит. В прошлом часто человек в критической ситуации произносил: «Господи! Дай мне терпение, чтобы вынести то, что нельзя изменить, дай мужество и силу, чтобы исправить то, что изменить можно, и — мудрость, чтобы отличить первое от второго!» Теперь эта мудрость, это мужество и это терпение нужней, чем когда-либо.

Наш диалог с вами, читатели, начнем с одиночества, потому что в большинстве писем это человеческое состояние отнесено к наибольшим трагедиям современности.

Образ несчастий мне представляется в виде дерева, его ветви — такие трагедии, как крушение идеалов, утрата смысла жизни, выбор неверного жизненного пути, брошенность, трагический треугольник, жизнь под гнетом домашнего тирана, невозможность победить убийственный собственный порок... Судя по почте, так выглядят самые распространенные несчастья нашего времени. Ствол этого дерева несчастий — одиночество. Ведь все страдания ведут к ощущению одиночества:

«Это ощущение гадкое до боли и еще неприятнее оттого, что не можешь понять, где же болит. Нет никаких желаний. Работать не могу. Мысль промелькнула: во мне убита радость жизни. Ее у меня было много, я многого хотела. О многом мечтала. Хотела иметь много детей. Мне это невозможно — меня методично, постепенно убеждали, что это мне нельзя. Хотела быть актрисой и не смогла... Работа превратилась в заработок... Что же, и это вся жизнь? Бесцветная и пустая, как и этот день, пасмурный и серый. Где найти силы его перенести! Пытаюсь понять, что происходит, и не могу. Здесь никто не способен понять и помочь.

Может быть, все разрушить? Только чтобы не было так, как сейчас! Эта мысль соблазнительна, она приходила мне и раньше, но вместе с ней был страх потерять самого близкого мне человека. Теперь страха нет... Все разрушить и делать, что хочешь... Но ведь я ничего не хочу... Как найти силы это пережить! Любить не могу. Верить не могу. Думать не могу. Видеть не могу...

Я не одна и — одна. Мне холодно. И вокруг пусто».

Разумеется, можно сказать, что это временное настроение, пройдет. Но когда? Через минуту, неделю, год?.. Никто не знает. Да и вообще то, что «все проходит»,— слабое утешение для большинства людей. И это понятно. Ведь и жизнь — тоже проходит. Наконец, это ощущение — одиночества — пройдет ли? А если пройдет и — снова вернется? И опять. И так всю жизнь?..

Уважаемые читатели!

Что вы можете посоветовать реально, без демагогии людям, страдающим от чувства одиночества: актрисе, которую мы процитировали (письма ей мы готовы переслать), пятидесятилетней Ларисе Сергеевне Трофимовой из Донецка, матери троих детей, когда она пишет:

«Для меня нет ничего более страшного, чем одиночество. Твоя забота, внимание, терпение, нежность оказываются никому не нужны. Разве это не страшно? Все проблемы, свои и детские, начиная от двойки в дневнике до свадьбы, решать одной и за все одной нести ответственность. Разве это не страшно? Одиночество огромной глыбой наваливается на тебя, и сколько ты ни бьешься, не сдвинуть ее с места ни на сантиметр. И не от тебя это зависит».

Не все согласятся с этим. Довольно много людей вообще не считают одиночество проблемой.

«Я даже не верю одиноким, считаю это чувство химерой,— пишет Е. В. СЫСОЕВА, пятидесятишестилетняя рабочая из Житомира.— Я от природы не нытик, хотя и очень серьезно больна сердцем...»

«О чем вы говорите!— восклицает шестидесятидвухлетняя домохозяйка О. К. из Владивостока.— Какое одиночество, когда в жизни столько интересного: можно коллекционировать открытки, читать прекрасные книги, слушать музыку, шить, печь пироги, размышлять, наслаждаться искусством, природой, воспитывать детей, своих или чужих, отгадывать кроссворды, общаться...»

Напротив, автор этой статьи чувство одиночества до самого последнего времени испытывал. Поэтому я и пишу, обращаюсь к тем, для кого одиночество — это проблема. Таких писем много больше. Вот типичное:

«Знаю, что надо радоваться солнцу, хорошему человеку, интересной книге. Знаю, что человек живет один раз, пережитая минута никогда не повторится. Но у меня-то возврата счастья и радости не будет...

Чувствую свое одиночество все время. Плохо сплю, много плачу, пью лекарства. В четверг и в воскресенье хожу на кладбище к мужу — это облегчает состояние... Сама себя обслуживаю, материально обеспечена. Все есть, только нет моего друга — спутника жизни, вот в этом вся беда. У меня будущего нет. Одиночество остается одиночеством».

КУХТИНА О. В., Москва.

Но больше всего писем от молодежи:

«Мне двадцать шесть. Зовут Анной. Вы просили написать о самом сокровенном. Это то, что я в жизни всегда одинока...»

А. ЦОИ, Ленинград.

«...Канова самая острая проблема моей жизни? Одиночество. Что является самым большим несчастьем моей жизни? Одиночество...»

Милана, 19 лет, Алма-Ата.

«Мне 15 лет. Я некрасива и одинока. Самое большое несчастье — это отсутствие личного счастья...»

Света О., Киев.

У нас с вами очень трудная проблема, так как она многолика. Одно дело — молодой человек, у которого ЕЩЕ нет никого: как сказано в письме одной девушки, «наступает момент, когда без близости, без чувства тепла, без семьи становится невозможно»; другое дело, когда УЖЕ никого нет. Есть одиночество без любимого человека, есть — без единомышленников, с которыми можно было бы общаться и, как написал нам тридцатилетний харьковский учитель физкультуры, в этом общении «чувствовать, что ты — живешь». Есть одиночество душевно ленивого человека и одиночество человека слишком требовательного. Есть одиночество человека, верного тому, кто ушел и не вернулся, и есть одиночество себялюбца. Есть одиночество человека, который как бы не одинок — одиночество вдвоем в отношениях родители — дети или в супружестве,— и есть одинокие семьи, которые хотели бы найти друзей в лице других семей. Есть одиночество уже потерянного смысла жизни — и смысла жизни, еще не найденного.

А вот к какой категории относится это одиночество?

«...Моим большим счастьем всегда была семья, работа, здоровье и прекрасная молодость. Умер муж. Дочь с семьей живет в другом конце города, приезжает ко мне только по субботам. Этот день для нее каторжный, она стирает, белит, красит и все делает в моем доме. У меня болен позвоночник, нарушена сердечная деятельность, физически работать не могу. Большое материнское спасибо дочери. Но есть другая сторона медали — самое большое несчастье для меня: дочь спешит домой, становится такой раздражительной, и я чувствую себя виноватой перед ней за ее усталость, чувствую себя еще более одинокой и никому не нужной, а как хочется настоящего дочернего тепла! Она уезжает, не поговорив со мной по душам, я остаюсь одна со своими мыслями. К себе дочь забрать не может, не позволяет жилплощадь, а ко мне не хочет. Так и живу в горьком одиночестве, живу, как в холодном подземелье...»

Мария КАНЮЧЕНКО, Ростов-на-Дону.

М. М. Пришвин писал, что с одиночеством человек не родится, а постепенно наживает его, как болезнь, излечиваемую только любовью. Может быть, эта мысль объяснит одиночество тех, кто не любит: уже не любит или — еще...

А теперь я хотел бы ответить человеку, которому, кажется, могу помочь, поскольку мы — БЛИЗКИЕ ДУШИ. Это социолог Георгий Кузнецов, с письма которого мы начали статью. Вот оно:

«Итак, кто я? Часто мне кажется, что такого, как я, нет во всем мире. ...Меня отличает от других знакомых какая-то удивительная отгороженность, как стеклянная перегородка. Не умею вступать с людьми в эмоциональный контакт, проявить на людях то, что чувствую здесь и сейчас. Сосредоточенный на себе, не могу открыто общаться с другими, а от этого еще больше замыкаюсь. Попытки разорвать порочный круг делаю, но без успеха. Похоже, что слишком охраняю свою неповторимость. Много оказалось во мне заложено с детства такого, что не способствует жизни самостоятельного человека. Это и представление о своих нерядовых способностях (усердно внушавшееся родителями, желавшими мне, разумеется, только хорошего), и заранее «предписанная» линия карьеры (вуз во что бы то ни стало, иначе — трагедия), и культ бесконфликтности с окружающими, и стыдливое прикрытие от «преждевременного» полового любопытства, и слабый интерес к тому, в каких отношениях ребенок находится со сверстниками. Но глупо и безнравственно предъявлять счет родителям и всему тому, что меня формировало: работе, коллективу, профессии, образованию... Есть же еще я сам! Моя воля, мои желания, стремления. Где они?

...Мне уже 32 года, я еще никого не любил, вообще не был ни с кем близок душевно, не был никому нужен как личность...

Наверное, моя главная ошибка — повторение одних и тех же ошибок. Это какая-то боязнь изменить свой способ существования, хоть в чем-то проявить себя с неожиданной стороны. Можно ли такую «ошибку» исправить? Наверное, да. Но как это могу сделать лично я, пока не знаю.

Обычную изолированность переношу довольно легко. Ну а одиночество души для меня состояние почти постоянное. Так что волей-неволей приходится существовать с ним. Но как можно привыкнуть к одиночеству, перенести его? Можно только разорвать его, выйти из него. Я это пытаюсь сделать, в том числе и этим письмом к вам».

Я тоже с детства считал, что я человек исключительный. В какой-то мере и сейчас так считаю. Воспринимаю себя то лучше, то хуже окружающих. Мне трудно с ними контактировать.

Квартира, где я жил с детства, выходила окнами на глухую стену. Она каждый день стояла у меня перед глазами. Образ этой кирпичной стены без единого окна был во мне, как у вас стеклянная перегородка, Георгий.

Когда я шел по улице, я часто думал о том, что вот идет навстречу человек, с которым, если бы я познакомился, мы могли бы принести друг другу, может быть, счастье. Вот он идет (или она), а я думаю: еще секунда, он пройдет мимо, и — все! Помню, в то время меня поразила мысль Дюма-старшего, что у каждого человека в день бывает в среднем до десяти возможностей в корне изменить свою судьбу. И люди делятся на тех, кто не использует эти возможности, и тех немногих, кто эти шансы использует.

И вот я стал, пересиливая себя, подходить к людям, которые меня чем-то притягивали. У меня появился круг знакомых, тут были люди разных возрастов, полов и характеров. Но эти попытки сломать перегородку оказались недостаточны. Одиночество мучило.

Так же, как и вас, родители меня любили. Но я не чувствовал, что они любят друг друга. Уже к двадцати трем годам я обратил внимание на то, что и я никого не люблю, но вместе с тем мечтаю о каком-то идеальном контакте, идеальной близости. Однако ни один из моих контактов к этому не приводил. Почему-то все — разные — люди, с которыми я знакомлюсь, в конечном счете несут мне несчастье и одиночество. Тогда я понял, что дело во мне самом. И я решил... полюбить.

Я познакомился — опять же — на улице. Что дальше? Через некоторое время эта женщина начала абсолютно мной помыкать — во всех смыслах. Я ужасно страдал. Никогда до этого я так не страдал, не был так одинок. Но я с ней не расставался. Почему-то мне это было нужно, лишь теперь понимаю почему. Потому что разрушить внутреннюю перегородку можно только через пережитое личное несчастье.

И вот когда я выпил чашу этой «истории» до дна, а она длилась годы, я почувствовал, что перегородка во мне подтаяла. То, что началось шесть лет назад как эксперимент, идущий от головы, превратилось в ощущение, что я могу действительно любить! И — в предощущение того, как это — любить! Но лишь к тридцати восьми годам я понял, что любовь — дело поступков, и осознал, кто мне нужен. Во-первых, надо искать среди людей открытых и наивных. Нашел. Во-вторых, поступки любви надо совершать при любых обстоятельствах, несмотря ни на что; это легко сказать, но трудно сделать. И что же? Хотя я чувствовал, что прав в своем выборе, стеклянная перегородка или стена не пропадала, оказалась прочнее, чем я думал. Только совсем недавно я понял, в чем тут дело: я вкладывался в человека и ждал такой же отдачи от него. Но для близких отношений такой принцип разрушителен: каждый внутренне должен жить самостоятельно, развиваться индивидуально и свое вносить в отношения любви, не ожидая компенсации. Это последний вывод, к которому я пришел.

То, что пишу вам, я попытался превратить из слов в поступки. И меня оставило ощущение одиночества.

Понимаю: это не значит, что моя «стена» исчезла навсегда. Не могу исключать того, что она «ушла в тень» и при каких-то обстоятельствах может себя показать. По-моему, это зависит прежде всего от того, насколько два человека дадут возможность свободно развиваться друг другу. Ведь абсолютно исключают трагедию одиночества только одни отношения — настоящей любви. Такие отношения, если говорить не о мечтах, надеждах и воспоминаниях, а о реальных людях, находящихся друг около друга, возможны только, когда свободное развитие каждого из пары является условием развития обоих. Это, конечно, идеал. Как скорость света: к ней можно стремиться, никогда не достигнешь. Но если знать, к чему стремиться, и делать это практически каждый день, независимо ни от чего, это становится нашим жизненным путем, где одиночество души постепенно отстает. А там уж как посчастливится...

Тип одиночества, на котором мы подробно остановились, особенно характерен для молодежи, когда у человека еще нет ни с кем душевной, духовной близости (а тем самым как бы нет никого, хотя есть недостаточно душевно близкие родственники). Молодежь редко бывает способна выработать против такого субъективного ощущения одиночества внутреннюю защиту. Лишь с возрастом — да и то не все — люди в какой-то мере свыкаются с этим чувством.

Однако самой большой проблемой является объективное одиночество, когда у человека реально нет абсолютно никого; родные уже умерли или это такие «родные», от которых практической, просто даже бытовой помощи нет. Многие такие люди живут по разным причинам вне домов для инвалидов и для престарелых, вот письмо:

«Мне 33 года, из них 30 лет я прикована к постели, и так будет до конца моей жизни; но сейчас речь не обо мне. В одной из ленинградских квартир умерла женщина. У покойной не было никого из родных. Соседи были поражены, когда увидели среди ее вещей множество орденов и медалей. Видимо, она была в войну сестрой милосердия, похоже, что спасла много жизней. Может быть, до сих пор кто-то из фронтовиков ее ищет. Она умерла в одиночестве, никому не нужной... Бывает, что у нас любят памятники и не видят возле себя живых. Памятнику ничего не надо — поставил цветы, и долг выполнен. А живому надо помочь — купить, достать, вызвать «скорую»... Притом настоящие люди не навязывают себя никому, о своих мучениях молчат. Придет такое время, когда возле нас больше их не будет, страдающих и живых. Надо спешить их сейчас любить. Возможно, вам мое письмо покажется наивным или что я сгущаю краски. Нет. И если кому-то из таких людей сейчас очень плохо, пусть напишет мне, чем смогу, помогу.

С уважением, ЦЫМБАЛАРЬ Евгения, 279156, Фалешты, с. Боканы».

Уважаемый читатель, на мой взгляд, Евгения Цымбаларь права. Когда мы одиноки, представим себе, каково больному, обездвиженному, старому, беспомощному инвалиду.

Она вдвойне права потому, что предлагает, на мой взгляд, наилучший способ борьбы с одиночеством — взять на себя ответственность за другого человека. Это не единственный выход. Но действительно, кто не может взять на себя такую ответственность, тот обречен на одиночество. Я в этом убежден.

* * *

Статья закончена, но тема не исчерпана. Дело в том, что есть глубокая связь между одиночеством и другими человеческими несчастьями. Например, брошенность. Я получил об этом несколько писем, которые не выходят из головы, и поэтому хотел бы следующей написать статью о людях, от которых ушли.

Мы ответственны за тех, кого мы приручили. У меня, однако, вопрос: это всегда так? Или есть случаи, когда мы вправе снять с себя ответственность? И, более того, когда мы действительно вынуждены покинуть человека?

И еще. Вы, читатель, когда-нибудь представляли себя на месте того, кого вы бросили?

ОТ РЕДАКЦИИ.

Поднятая проблема не раз обсуждалась в прессе. Многое сделано для ее решения: службы знакомств, «брачные конторы» в некоторых газетах и журналах, телефоны доверия, общественные бюро социальной помощи... Но что-то наверняка ускользает из поля зрения. Что, по вашему мнению! Может быть, вы видите пути решения! Тогда предложите их.

Ждем ваших писем!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ

РАССКАЗ

МАРК

Марку работалось хорошо. Каждый мазок, казалось ему, ложился на место, был выразительным, и за два дня и две ночи он сделал очень много, даже сам удивился. За все это время он ничего не ел, и не хотелось, да и не было ничего, кроме сухарей и пачки кофе, этим и подкреплялся.

И сейчас, собираясь работать третью ночь, он заварил кофе, надорвал последнюю пачку «Норда» — до утра должно хватить,— присел к столу и большими глотками отхлебывал обжигающий губы, не очень-то настоящий, но крепко заваренный кофе. Ноги гудели, да и немудрено: отстоял двое суток у мольберта. Марк не любил высоких слов, никогда не называл свою работу «творчеством», да и словечко «вдохновение» тоже не из его лексикона, но то, что он ощущал за эти дни, наверное, можно назвать вдохновением. Все удавалось! Все выходило! И композиция, и фигуры, и цветовая гамма. Четко очень обозначились характеры, а это он считал важным. И была драматургия. А станковой картине она необходима. Короче, ему почти все нравилось, что бывало чрезвычайно редко. Даже эскизность и некоторая небрежность. Лишь бы не «перемучить», не пересушить...

И пленный солдат в отчаянном замахе киркой на немецкого охранника получился именно таким, каким ему и хотелось, да и сам охранник неплох уже тем, что не походил на звероподобное существо с бычьей шеей, каким изображался в большей части наших картин. Нет, он другой у Марка, с неглупым, даже интеллигентным лицом, и мог быть до войны и учителем, и бухгалтером или квалифицированным рабочим.

Остальные фигуры тоже вроде получились... Выявлен и страх пленных, понимающих, чем это им грозит, и удивление, даже оцепенение второго охранника, которому никак не представить, как русский Иван решился на такое.

Выпив кофе, Марк закурил и подошел к мольберту. Вообще-то живописцы не работают при искусственном свете, но он делал только подмалевок на уголь, а в цвете картина была уже решена в эскизе. Комната не позволяла отойти на большое расстояние и оглядеть композицию в целом, и Марк подумал: надо искать мастерскую, так работать невозможно. Ну, а сейчас надо продолжать...

К середине ночи послышался ему какой-то невнятный разговор. Говорили о нем. Марк с неохотой оторвался от мольберта и посмотрел во двор — в противоположном окне флигеля их же дома, расположенного буквой «п», он увидел две головы. Одна — Толика, студента Строгановки, приходящего иногда к нему со своими работами, вторая — матери Петьки Егорова, дворового приятеля, сгинувшего на войне. Толя сказал:

— Смотрите, как у Марка Викторовича здорово получается. И какая работоспособность, третью ночь работает.

На что Петькина мать хриплым, осипшим голосом пробурчала:

— Какой он тебе Марк Викторович? Маркелом его дразнили, и такая же шпана был, как и мой Петька. Вместе у дамочек в подворотнях рэдики дергали.

— Путаете вы что-то, Марк Викторович большой художник и...

— Какой он художник!— перебила старуха.— Три года после войны прошло, а он все голодранцем ходит, шинелишку донашивает... А картины, которые он пишет, все насмарку. Истопник наш рассказывал, принесет цельный сверток — и в топку.

Марку разговор этот не мешал, забавлял даже, хотя особо он и не вслушивался. Не показалось ему странным, что в такой поздний час стоят соседи у окна кухни и ведут беседу и почему-то только о нем и что слышит он явственно их слова, хотя окна закрыты и расстояние между флигелями немалое — целый двор. Ладно, пусть болтают, если делать нечего и не спится.

Разговор тем временем продолжался.

— Слушай, Анатолий, руки-то у твоего Марка дрожат. Как он это свою кистью держит?

— Ничего подобного! Видите, как мазок кладет, точно, как в яблочко.

— Скажешь тоже... Как в яблочко надо было во фрицев стрелять, а он где был, знаешь? В плену-у... Небось, немцам голых баб рисовал. Мой-то голову за Родину сложил, а энтот все кисточками балуется и девок водит.

— Каких девок?— возмутился Анатолий.— Это я к нему со студентами приходил.

— Я через окошко всю его жизнюгу вижу, не говори. Хоть бы занавески какие купил, прикрылся. Денег, что ли, нет или на нас плюет, глядите, дескать, я весь на виду.

— А Марку Викторовичу скрывать нечего... Вы поглядите, как у него солдат получается! Какое лицо! Характер! А вы про какие-то занавески.

— Какое лицо? Рожа, да еще кривая.

Последние слова немного смутили Марка: неужто на таком расстоянии разглядеть можно?

— И вообще все у него кривобокие и вытянутые,— продолжала старуха.

Это пренебрежительное высказывание заставило его отойти от мольберта и внимательно поглядеть на картину.

— Все верно, так и должно быть,— пробормотал он, осмотрев работу.— Пропорции и должны быть нарушены.

И тут Анатолий, словно услыхав его бормотание, сразу же подтвердил мысль Марка, причем более четко, чем она представлялась ему самому.

— Понимаете ли, Пелагея Петровна, в том ми-

Вячеслава Кондратьева нет нужды представлять нашим читателям. Автор «Сашки», других повестей и рассказов о событиях и людях военных лет хорошо известен в нашей стране. Передавая «Огоньку» свой новый рассказ, В. Кондратьев сказал, что тема войны и всего связанного с ней остается главной в его творчестве и что проза, представленная сегодня на суд читателей, лишь часть того повествования, которое будет продолжено в других его произведениях....

Рисунок
Марины **ПЕТРОВОЙ**

ре, где происходит действие картины Марка, нарушены все человеческие законы, там все изуродовано фашизмом. Что такое фашизм, понимаете?

— Ты что, политграмоте вздумал обучать? Знаем мы...— проворчала она.

— Фашизм — это бесчеловечность, а раз так, то даже формы человеческого тела нарушены. Не только души, но и тела. Поняли теперь?

— Мудрено что-то...

— Да, конечно, вам трудно это... Марка Викторовича не понимают даже его коллеги-художники... Для изображения кошмара фашизма нужны новые формы, вот над этим и бьется Марк Викторович.

Что-то раньше не замечал Марк «блеска» Толиного интеллекта да и никогда не говорил с ним на эти темы. Приносил ему Толик довольно посредственные рисуночки и примитивно разглагольствовал об искусстве, и вот вдруг — такое. Ай да Толик! Марку даже захотелось подойти к окну и приветливо махнуть ему рукой, поблагодарить за понимание, но, глянув в окошко, никого не увидел. Ушли, значит. Он посмотрел на часы, был третий час ночи...

К утру Марк обессилел. Он сел в кресло, вытянул ноги и уставился в картину. Разумеется, это еще была не картина, но в главном все решилось. Пожалуй, надо пройтись немного по лицу пленного, ожесточить чуть складку у губ, а у немца-конвоира, кроме испуга, показать бы и другое, может быть, презрительную полуусмешку неверия — не решится эта руссиш швайн на такое, не хватит силенок, право, смешно, чтоб русский поднял руку, не может этого быть, майн готт, это же просто глупость! Да, это будет психологически более точным, только не переусилить усмешку, не сделать ее чересчур уверенной, все же в глубине у немца страх... Марк закурил, и тут неожиданно со двора грохнула музыка, очень громкая, через усилитель, наверное. Какой идиот ни свет ни заря завел патефон, пробормотал Марк. Он поднялся и глянул в окно: дворник спокойно убирал снег и даже головы не поднял вверх, откуда, как казалось Марку, и шпарила музыка — с третьего или четвертого этажа. Мелодии были знакомыми, почти весь репертуар довоенных пластинок — и Козин, и Утесов, и Шульженко, и Джапаридзе, но вдруг в одну из утесовских песенок ворвались новые, не очень-то приличные слова, но легшие как-то к месту и в рифму. Марка это развеселило, хотя и удивило. В следующей песенке — то же самое, но уж совсем похабщина, ловко вложенная в подлинный текст. Марк стал прислушиваться, но музыка начала стихать и вскоре замолкла...

Проснулись соседи, захлопали двери, по коридору стали ходить туда-сюда, на кухне разговаривать, греметь посудой. Эти утренние шумы раздражали Марка, он отложил палитру и взялся мыть кисти — уже не до работы, да и выдохся он. В коридоре зазвонил телефон. Марк к телефону первым никогда не подходил, не стал подходить и сейчас. Трубку взяла соседка и начала с кем-то разговаривать. Он не прислушивался, но вдруг услыхал свое имя, и не из уст соседки, а из трубки — незнакомый женский голос:

— Елизавета Петровна, скажите, где Марк?

— Наверное, дома... Позвать его?

— Да... Хотя нет, не надо...

— Тогда, быть может, ему что-нибудь передать?— как всегда, мягко и вежливо поинтересовалась Елизавета Петровна.

— Передайте ему... что он подлец!

— Что вы? Марк порядочный человек. Я не буду передавать такое.

— Не будете? Ладно, он услышит сам — подлец! Подлец! Подлец!

Марк выскочил из комнаты. Черт побери, что это? Неужто от трех бессонных ночей и черного кофе так обострился слух, что он слышит то, что говорят в телефонной трубке? Доработался, черт возьми! Что это за дама, обозвавшая его подлецом?

— С кем вы разговаривали, Елизавета Петровна?— спросил он в упор.

— Почему тебя это интересует, Марк? — улыбнулась соседка.— Кстати, доброе утро.

— Доброе утро,— поспешно пробурчал он и почти грубо спросил еще раз: — Так с кем вы говорили?

— С одной знакомой,— недоуменно пожала плечами соседка.

— Вы говорили обо мне?!

— О тебе? Господь с тобой. Откуда ты решил?

— Я слышал. Обо мне.

— Марк, милый, не надо меня разыгрывать. Я говорила с одной знакомой, которая вообще тебя не знает.

— Но я же слышал,— обескураженно прошептал Марк.

— Ну как ты мог слышать то, чего и в помине не было.— Она мило улыбнулась и собралась уходить, но остановилась, внимательно посмотрев на него.— Марк, а как ты спал ночь?

— Никак. Я работал.

— И ты действительно слышал разговор о себе?— уже обеспокоенно спросила она.

Да.

— Ты, видимо, переутомился, и тебе померещилось... Ты знаешь медпункт, через дом от нас? Зайди к врачу.

— На кой черт мне врач,— бросил он и пошел в свою комнату.

Там он присел, закурил последнюю папироску и задумался. Конечно, такое обострение слуха ненормально. Может, и верно, зайти в медпункт, спросить, может ли быть такое от трех бессонных ночей и черного кофе? Докурив, он оделся и вышел на улицу.

Марка и так била какая-то дрожь, а утренний морозец сразу прохватил до костей; он поднял воротник пальто, нахлобучил шапку на уши и не услышал, как его окликнул шедший навстречу Коншин:

— Привет, Марк. Куда в такую рань?

Когда Коншин подошел вплотную, Марк невольно поморщился, говорить ни с кем не хотелось, но пришлось ответить Коншину, куда он направляется. Тот вызвался его проводить, и как Марк ни отнекивался, он пошел с ним.

Медпункт располагался прямо в подъезде большого старого дома в небольшом помещеньице, устроенном когда-то для привратницы. Сбросив шинель и отдав ее Коншину, Марк сразу, как вошел, с ходу спросил у врача, возможно ли такое обострение слуха, при котором он, находясь в комнате, слышит голос из телефонной трубки в коридоре. Докторша, женщина средних лет, с усталым лицом, подняла голову и внимательно оглядела Марка, задержавшись глазами на его немного дрожащих руках, а потом спокойно сказала:

— А что было до этого?

— Я три ночи не спал, работал, ну и кофейком себя подбадривал. Может, от него?..

— Ели что-нибудь?

— Не хотелось, да и в доме ничего не было, а в магазин сходить — не мог оторваться от работы.

— Так уж и не могли?— улыбнулась она.— Что же, работа такая?

— Я художник,— не без высокомерия заявил Марк.— Пишу картину. Долго не получалось. И вот вдруг пошла работа.

— Какую же картину?— поинтересовалась докторша.

— Долго рассказывать,— суховато ответил он.

— Я не из-за любопытства спрашиваю.

— Понимаю, но распространяться не буду. О войне.

— О войне? Опять? Мы так устали от нее, хотим забыть. Может быть, не стоит и не нужно о ней напоминать?— сказала она.

— Это о войне-то не нужно?!— взорвался Марк.

— Нервишки-то у вас, вижу, неважные,— покачала она головой.— У невропатолога давно были?

— Не хожу я по врачам. Некогда. Мне работать надо. Понимаете — р а б о т а т ь! — Он поднялся.— Вы мне скажите только, бывает такое от неспанных ночей и кофе? Ежели бывает, то — ауфвидерзеен.

— А контузия у вас была?

— Да, сильная.

— В каком году?

— В сорок втором.

— Запишите, Настя,— повернулась она к сестре.

Впервые глянул на сестру и Марк, и что-то знакомое показалось ему в красивом иконописном лице девушки: и темные брови при светлых волосах, и большие серые глаза, и твердые линии подбородка... Он глядел на нее, мучительно стараясь вспомнить, где же и когда он мог ее видеть, а потом вдруг неожиданно для себя брякнул:

— Послушайте, сестрица, вы не согласились бы попозировать мне часика два? Лицо ваше мне что-то напоминает, да и нужно мне как раз такое для одной вещи.

Когда Марку было что-нибудь нужно для работы, он действовал бесцеремонно и напрямик, порой с улицы затаскивал к себе людей, поразивших его внешностью и нужных для типажа. Сестра удивленно посмотрела на него и ничего не ответила.

— Я серьезно. Вы, бога ради, не подумайте чего. Вы мне для р а б о т ы нужны,— выделил он слово «работа».

— Больно вы сразу,— улыбнулась врачиха.— Так и смутить девушку можно. Кстати, ее Настей зовут.

— Чего смущаться? Я ведь не обнаженной прошу ее позировать. Мне лицо ее нужно. Я заплачу за сеансы,— напирал Марк, не замечая, что звучит это довольно двусмысленно.

— Мало ли что вам надо. Мне это не нужно,— наконец произнесла Настя, слегка нахмурившись.

— Почему же вам не нужно?— искренно удивился он.— Вы поможете мне создать картину, ваше лицо будет запечатлено на века.

— Так уж и на века?— снова улыбнулась докторша.

— Разумеется! Я поденкой не занимаюсь,— гордо заявил Марк.

Врач посмотрела на него, улыбка сошла с губ, и пожала плечами. Марк пожалел о сказанном: небось, решила, подумал он, что у меня шизоидная переоценка собственной персоны.

— А что было перед работой?— Суховатый тон вопроса подтвердил мысль Марка. Он усмехнулся.

— Встряска. Приятель один перед реформой гонорар свой спускал, ну и меня пригласил.

— Значит, пили? И сколько эта «встряска» продолжалась?

— Это имеет значение?

— Да, конечно.

— Три дня... Вообще-то я почти не пью. Не до этого, как, впрочем, и до многого другого,— глянул он на Настю.

— Пить-то вам нельзя — контузия. Наверно, говорили врачи.

— Говорили.

— Настя, приготовьте хлоралгидрат... Это снотворное. Выпейте и постарайтесь уснуть. О работе не думайте. Выспитесь как следует и... ну это обострение слуха должно пройти... Вы как будто пришли не один, я слышала разговор?

— Да. А что?

— Попросите того, с кем вы пришли, на минутку ко мне.

— Зачем?— удивился Марк.

— Мне нужно. А пока выпейте.

Настя протянула ему стакан воды, в котором было размешано лекарство. Он поблагодарил и выпил залпом, поморщившись от горечи.

— Значит, доктор, такое может быть?— спросил он еще раз, чтоб успокоиться.

— Да...— как-то неопределенно ответила она.— Но надо вам обязательно к невропатологу. Даже если это пройдет после сна. Сходите, прошу вас.

— Если просите, ладно уж, схожу,— снизошел Марк.— Вы ведь воевали? И вообще вроде хорошая.

— Уж не знаю, какая, но воевала.— Она грустно улыбнулась.

— Всего доброго. Спасибо... А вы, Настя, подумайте,— повернулся он к ней.— Мне очень нужно ваше лицо, прямо позарез.

Коншин пробыл у врача не минутку. Хорошо, что Марк нашел в кармане коншинского бушлата пачку «Беломора» и с наслаждением закурил.

— Что она тебе сказала?— спросил Марк, когда Коншин с нарочито безразличным лицом вышел из кабинета.

— Чтоб я проследил ему за тем, как ты ляжешь баиньки, что тебе необходимо отоспаться и вообще бросить работать ночами. Ну пошли, я провожу тебя.

— Не надо,— отмахнулся Марк.

— Слово дал хорошему человеку.— Коншин взял его под руку.— Выходит, ты три ночи не спал.

— Да... Вроде начало что-то получаться.

— Ну, у тебя всегда все получается... У меня бы так,— вздохнул Коншин.

— Не всегда, Алексей... Что же касается тебя...— Марк задумался.

— Что? Безнадежно?— выдавил улыбку Коншин.

— Я этого не сказал... Занимайся тем, чем занимаешься.

— А может, я хочу заняться другим? Бросить плакат и всерьез взяться за живопись.

— Не стоит, сэр.

— Почему?

Марк повернулся к нему и сказал жестковато:

— У тебя нет сверхзадачи, а без нее художник не может состояться.— Марк помолчал немного, а потом спросил: — Откуда ты шел в такую рань?

Коншин поколебался немного, но все же рассказал о вчерашнем. Марк слушал с отчужденным лицом, а когда Коншин закончил натянутым смешком: «Вот такое происшествие...» — Марк брезгливо процедил:

— Гаденькое происшествие, даже подленькое... Сколько раз я твердил тебе: бабы, вино — все это дым. Только то, что на бумаге, на холсте, даже какой-нибудь натюрмортик ерундовый,— это останется. А все остальное...— махнул он рукой.

— Понимаю,— удрученно пробормотал Коншин, которому и до слов Марка было тошно. Он закурил.

— А теперь говори правду. Что сказала тебе врачиха?

Коншин замялся и повторил то, что говорил до этого.

— Не ври, Алексей, я понял, у меня были слуховые галлюцинации... Всю ночь. Но как работалось!— Воскликнув это, Марк остановился вдруг, провел рукой по лбу.— А может, и это тоже мне казалось?— произнес упавшим голосом и заторопил Коншина: — Пойдем скорее, посмотрим.

Марк выполнил свое обещание, зашел в медпункт и сказал врачу, что все у него прошло. Зашел потому, что привык обещания выполнять, да и на Настю хотелось ему взглянуть. Ведь не только строгой иконописностью поразило тогда ее лицо, но и напомнило кого-то.

И сейчас, разговаривая с доктором, посматривал он иногда на уткнувшуюся в бумаги Настю, встречаясь иногда с ее почему-то напряженным взглядом. Прощаясь, сказал под конец, что повторяет свою прошлую просьбу попозировать ему. Настя мотнула головой отрицательно, а врач, улыбнувшись, сказала:

— На твоем месте, Настя, я была бы польщена таким предложением. Меня-то не просят об этом.

— Вы бы тоже не согласились,— подняла голову Настя.

— Согласилась, но, увы, в тебе что-то увидели, а не во мне.

— Был бы я портретистом, написал и вас, но миледи нужна мне для картины.

— Никакая я не миледи,— недовольно буркнула Настя и отвернулась.

Марк пожал плечами, кивнул и вышел...

Во вторую встречу лицо Насти показалось ему еще более знакомым, и это тревожило его, потому что поднимало какие-то далекие и тяжелые воспоминания.

И вот недели через две после этого в Екатерининском саду увидел он ее с каким-то высоким военным в подполковничьих погонах...

На миг потемнело в глазах, прижало сердце, Марк остановился и, не отрывая взгляда от подполковника, поджидал их.

— Привет, миледи,— хрипло процедил он, шагнув навстречу.

Настя повернула к нему голову и, увидев ожесточившееся, страшноватое лицо Марка с кривой, подрагивающей усмешкой, испуганно отшатнулась и пробормотала:

— Здравствуйте...

— Что же вы ко мне в мастерскую не приходите? Обещались же,— продолжал он, но глядел не на Настю, а в упор на Петра.

— Не обещалась я...— растерянно ответила она.

— Кто это, Настя?— спросил Петр, окидывая Марка холодным взглядом.

— Это один художник, Петр... К нам в медпункт приходил, ну и приглашал меня... портрет мой хочет сделать. Но я отказала.

— А он говорит: обещала.

— Разумеется, обещала,— подтвердил Марк, все так же усмехаясь.

— Ну зачем неправду говорите?!— воскликнула она, не понимая, почему Марк лжет, не понимая странного выражения его лица, только смутно догадываясь, что неспроста не сводит он с брата тяжелого, непримиримого взгляда, что, наверно, было промеж них что-то такое, которое не может забыть Марк, но, видать, не помнит Петр, потому как выглядит спокойным.

— Слыхали? Не обещала она вам, ну и не приставайте,— сказал Петр и протянул руку, чтоб отодвинуть стоящего перед ними Марка.

— А ну полегче, подполковник!— резко, с каким-то исступлением отбил он руку Петра.

Петр поначалу удивился беспричинному всплеску злости со стороны незнакомого человека, оглядел внимательно смотрящего на него с вызовом Марка, пожал плечами и, не привыкший, чтоб ему перечили, уже раздраженно и с угрозой в голосе прикрикнул:

— А ну марш с дороги!

— Все еще не накомандовались, подполковник!— с издевкой бросил Марк, не сдвигаясь с места.

— Пойдем, Петр,— схватила Настя его за руку и отвела, чтоб обойти Марка.— Не связывайся, не надо.

Петр буркнул что-то недовольно, но решил не связываться, не в драку же лезть с этим типом, и обошел стороной.

— Так я жду вас, миледи!— крикнул Марк вслед.

Они не обернулись и, выйдя из парка, пошли к Самарскому переулку. Марк постоял еще немного и пошел за ними — ему нужно было узнать, где живет капитан, а теперь подполковник Бушуев.

Настя, оглянувшись, заметила, что Марк идет за ними, но брату не сказала, хотя было ей это неприятно и даже страшновато. Что надо этому сумасшедшему художнику? Она оглянулась еще раз — Марк продолжал идти за ними все на таком же расстоянии, неотступно шаг в шаг. Она вздрогнула.

— Ты что?— спросил Петр и тоже обернулся.— А, этот тип следует за нами. Ты знаешь, где он живет?

— Да, записывала его адрес. На Мещанской вроде.

— Значит, он прется за нами. Давай подождем, отбрею его как следует.

— Не надо, Петр, пойдем. Мало ли куда ему нужно. Может, и не за нами идет. Он же малость ненормальный, в медпункт к нам зашел со слуховыми галлюцинациями... Слушай, Петр,— спросила немного погодя,— а не показался он тебе знакомым?

— Нет.

— А вот он смотрел так, будто бы знает тебя,— с тревогой сказала она.— Вспомни, может, встречались где на войне?

— Нет вроде,— немного подумав, сказал он.

Они дошли почти до дому, и Настя опять оглянулась — Марк стоял на противоположной стороне переулка и глядел, как они заходили во двор. Выходит, и верно, шел за ними, чтоб узнать, где

живут, зачем ему это, подумала Настя, и сердце сжалось в каком-то недобром предчувствии.

А Марк, вернувшись домой, достал из потайного места старый, поцарапанный, видавший виды ТТ, купленный им на толчке за две тысячи рублей сразу же после войны и показавшийся ему тем самым пистолетом, из которого не успел застрелиться, когда, очнувшись на рассвете, увидел, как к нему приближаются немцы.

Сунув пистолет в карман, он поехал на электричке за город, где, отойдя далеко от станции в лесок, всадил всю обойму в ни в чем не повинную березу, пуля в пулю, бормоча что-то про себя. Разрядившись таким образом, он возвратился домой более или менее успокоенный и, усевшись в кресло, медленно, с каким-то наслаждением вставлял в пустой магазин патрон за патроном...

Ночную ту работу пришлось Марку перемарать, хотя кое-что и было найдено в том обостренном состоянии, были какие-то находки.

Сейчас работал он небрежно над плакатом для той же редакции, где брал работу Коншин. Там, кстати, они и познакомились. За настоящую работу Марк плакаты не считал, лепил их быстро и, если бы захотел, мог зарабатывать уйму, но ограничивал себя минимумом, для прожитья. Жалко было времени на пустяки, когда не хватало на главное.

Неожиданно раздалось четыре звонка, это к нему. Кто бы мог? — поморщился он. Он был небрит, в старых лыжных шароварах и в накинутой на нижнюю рубашку блузе. Нехотя пошел открывать дверь, открыл.

— А, это вы,— уронил он, увидев перед собой Настю.— Пришли-таки. Ну, проходите... Звякнули бы, предупредили, а то, видите, в каком я виде.

Он провел молчавшую Настю в свою комнату, усадил в кресло и, буркнув, что покинет ее на минутку, захватил свитер и вышел, чтобы надеть его в коридоре. Вернувшись, уселся напротив и, выдавив улыбку, сказал:

— Значит, все же решили помочь мне?

— Нет... Зачем вы за нами шли по Самарскому?

— Вот что...— усмехнулся он.— Хотел узнать, где вы живете.

— И зачем вам это?

— Как зачем. А вдруг вы смените место работы, ну и я... потеряю ваши следы.

— Вы не из-за меня шли,— уверенно сказала она.

— Помилуйте, из-за кого же?

— Почему вы т а к на Петра смотрели? На брата.

— Так этот военный — ваш брат? А я думал, ухажер какой-нибудь, даже приревновал,— соврал он нескладно.

— Не надо... Показалось мне, знаете вы Петра. И ненавидите. По глазам вашим поняла. Что он вам сделал?

— Все это фантазия, Настя,— ответил он спокойно.— А что за ненависть приняли — просто неприязненность, высоких чинов не люблю...

— Честное слово дайте, что не знаете Петра.

— По всяким пустякам слово не даю.

— Не пустяк это для меня... Я же чувствую, чувствую...— Она не спускала глаз с Марка.

— Ерунда это все,— поднялся он.— Давайте помогу вам раздеться, и работать начнем.

— Я сказала, не для того к вам пришла,— поднялась и она.

— Тогда работы я вам покажу. Может, поймете, зачем вы нужны мне.

Марк подошел к стоящим у стены подрамникам и стал срывать с них старые, застиранные простыни, которыми они были закрыты. Настя подняла глаза, и ее обступили страшные, странно изломанные фигуры в полосатых одеждах, истощенные до того, что были уж не похожи на людей, какие-то скелеты, обтянутые кожей.

— Вот здесь должны быть вы, Настя,— показал Марк на одно из полотен, где изображена была колонна военнопленных, проходящих через деревню, и ткнул пальцем на белое пятно холста.— У этой женщины должно быть ваше лицо. Поняли теперь?

— Ничего я не поняла. И как вы в таком кошмаре жить можете? — пролепетала она дрожащим голосом.— Неужто все т а к и было?

— Б ы л о,— хрипло подтвердил он.

— Значит, довелось вам весь этот ужас пережить? — сочувственно прошептала она.

— Довелось...

— И как это случилось? — тревожно спросила Настя, почуяв вдруг какую-то еще неуловимую для нее связь между пленом Марка и ее братом.

— Долго рассказывать,— как можно небрежней бросил он, почувствовав, что ухватила она онить женской своей интуицией, а ему это пока ни к чему.— Так будете мне позировать? Это же,— простер он руку к полотнам,— н а с т о я щ е е. Я и выжил там лишь для этого. Кроме меня, такое никто не напишет. Понимаете? Никто!

— А кому такой ужас надобен? Люди только от войны малость очнулись, а вы их — туда, опять в кровь, в кошмар... Не могу больше глядеть. Закройте.

— Ага, подействовало, значит! — вскрикнул он обрадованно.— Нет, глядите! Вот еще, еще...— И он стал вытаскивать новые холсты, а она, не понимая его странной радости, закрыла лицо руками.

— Не надо. Уберите.

— Смотрите, смотрите! — кричал он в каком-то исступлении.— Действует, значит, действует!

Настя резко рванулась к двери, но он схватил ее за плечи, повернул несколько к картинам и продолжал:

— Глядите! Вы должны на это смотреть!

— Да вы сумасшедший! — вырвалась она с трудом из его рук.

— Может, немного есть,— улыбнулся вдруг как-то смущенно, отойдя от Насти.—Но вы не бойтесь и не уходите. Я сейчас...— Он стал накрывать полотна, а те, которые нечем было закрыть, поворачивал холстом к стене.— Вот увидели вы все, должны понять. Садитесь, поговорим спокойно.

— Не о чем нам, наверно, говорить,— покачала она головой, но села.— Не понимаю я ничего в этом, то есть в картинах ваших. Страшно мне только, что в таком ужасе живете... И в ненависти. А она мне вообще непонятна.

— Что ж, любить мне эту сволочь?! — кинулся он к одному из подрамников, рванул покрывало и показал на немецкого охранника.— Любить? Я его каждый день убиваю. Видите — у б и в а ю.

Настя отвернулась, но успела заметить, что замахнувшийся киркой на охранника пленный похож на Марка.

— Я его там не мог убить. Так убиваю и убивать буду вот здесь, на полотне! Всю жизнь буду убивать! Понимаете, всю жизнь!

— Жалко мне вас почему-то,— вздохнула она и жалостливо поглядела на Марка, покачав головой.— Жалко, очень жалко...

— Это вы бросьте,— засмеялся он.— Я счастливый, у меня талант есть. Я с этими тварями рассчитаться могу. Вот не было бы этого — задохнулся бы, не выдержал, а может, и погиб...— уже серьезно, почти шепотом сказал последние слова.

Какое-то время молчали они. Марк закурил, и, видать, успокоился, погас в глазах сумасшедший огонек, только чуть губы подрагивали. Настя поднялась, собралась к выходу, но остановилась.

— Скажите, кабы вам этот охранник сейчас повстречался каким-то случаем, что бы вы сделали? — спросила и с затаенным страхом ждала ответа.— Неужели убили бы?

— А вы как думаете? — спросил в упор, подойдя вплотную.

— Времени-то много прошло... Может, забыть все пора? — неуверенно начала Настя с неясной надеждой, что подтвердит Марк это.

— Забыть? — скривил он губы, и опять замелькали в глазах сумасшедшие огоньки.— Они же сломать меня хотели, человеческого достоинства лишить. Нет, нельзя забыть. Преступно. Немцев-то не встретить, а вот из наших сволочей, из продавшихся — вероятность есть... Лелею такую надежду,— добавил страшновато, сведя пальцы в кулак.

— И что ж тогда? — спросила, уже не скрывая страха, Настя упавшим голосом.

— Вы, миледи, может, в Христа-бога веруете? Это он насчет подставления левой щечки проповедовал.

— Как же вы вот т а к жить можете? — вырвалось у нее.— Пойду я,— направилась к двери, но снова приостановилась.— Скажите мне по-честному — знакомы вы с Петром или нет?

— А что сам ваш лихой братец на этот счет говорит?

— Говорит, незнакомы.

— Правильно его благородие говорит,— усмехнулся Марк.

ДОРОГОЕ ЗАСТОЛЬЕ

МОЖЕТ, ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ТАКАЯ КУЛИНАРНАЯ КНИГА: В НЕЙ ТОЛЬКО РЕЦЕПТЫ БЛЮД, ПРИГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ХЛЕБА...

НАШ ХЛЕБ

Хлеб всегда был рядом с человеком. Он и кормилец надежный, он и домашний миротворец: «Сердись, бранись, а за хлебом-солью сходись» — так говорят издавна. Хлеб и мир — суть одного корня. И, может, настанет день, когда государства будут обмениваться не только нотами, но и рецептами национальных хлебов?

Обмениваться рецептами — и такими, что приведены в этой удивительной книге. Вчитываюсь в них, всматриваюсь — это же история наша! Те ее страницы, что донесли до сегодня дух и характер предков. И если удастся уберечь от забвения это богатство, то и мы, и дети наши, внуки — все будем богаче. И в буквальном смысле слова богаче, и моралью крепче.

Летят в бачки для отходов чуть подсохшие ломти и полубуханки. А останови эту преступную или легкомысленную руку, и хлеб вознаградит сторицей. Квасами такими, что за уши не оттянешь от кружки холодного напитка или от окрошки. Тюрями, солянками, бутербродами, пирожными, похлебками, гренками, клецками, галушками, варениками, луковыми супами (и по рецепту Дюма-отца приготовленными, и другими). И снова же квасами: любительским, душистым; с мятой, с тмином, с корицей, с черносмородиновыми листьями, а также «кислыми щами» — некогда весьма популярным напитком, ныне, однако, забытым. Попытку возродить его и делают авторы книжки.

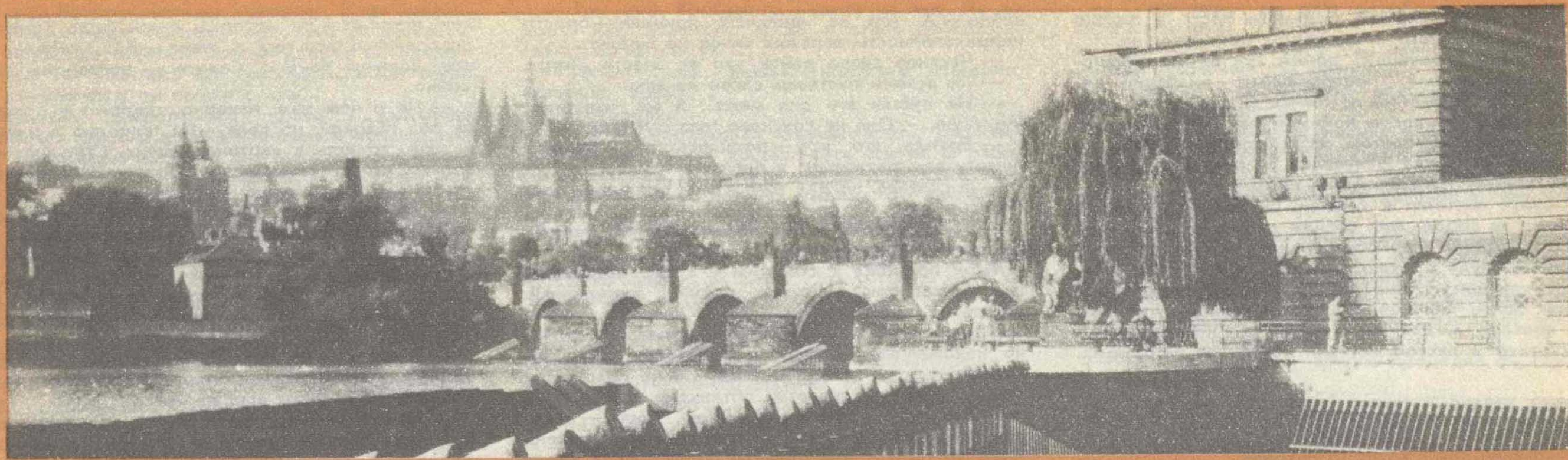
Книга «Хлеб в нашем доме» создана знатоками, людьми, преданными хлебу. Авторы обратились к памяти народной, постучались в архивы, нашли-разыскали многое да еще проверили каждый рецепт экспериментально, вводили его в день сегодняшний осмотрительно и с обстоятельностью. Часть рецептов создана самими авторами. Но даже эти, «сочиненные», почерпнуты, по сути, у народа, у хлебной истории. И вот что удивительно (но и закономерно!) — доморощенные, неведомо когда и кем созданные, очень простые советы полностью соответствуют современной науке о питании!

Особое внимание в книге—простым, я бы сказал, быстрым рецептам и рекомендациям. Варианты и различные способы использования овощей, всякого подручного продукта — умело сочетай его с зачерствевшим хлебом, и создашь блюдо и сытное, и вкусное, неординарное по всем своим показателям.

Но хлеб не был бы хлебом, если бы он не показал и свою изысканность. Загляните на те страницы, где приводятся рецепты тортов и лепешек — любой праздничный стол украсят такие произведения. Довелось мне отведать (не без помощи авторов книги) кое-что из рекомендованного — поверьте уж на слово... А еще лучше: проверьте сами. Ведь авторы книги рассчитывают прежде всего не на чтение, а на своеобразное соавторство, на то, что в один из дней вы встанете у кухонного стола, заглянете на страницу: «Что там советуют?..» И — и после того, как ваши близкие отведают ту же тюрю (она особенно хороша летом, в жаркий день, но и зимой пойдет...), а то и пирожное, с той самой минуты и начнется ваше истинное сотрудничество с авторами книги. И станет хлеб оказывать вам свое расположение.

Авторы настойчиво проводят мысль о том, что бережное отношение к хлебу — мера нравственная. Но это и выгодно для каждого из нас: похозяйски распоряжаться хлебом. И потому, если окажется кусок-второй засохшего хлеба, не спешите выбросить его.

Константин БАРЫКИН



ОБЩНОСТЬ ЦЕЛИ

НАВЕРНОЕ, НИКОГДА ЕЩЕ СО ВРЕМЕН 1917 ГОДА МИР НЕ ВСМАТРИВАЛСЯ ТАК ПРИСТАЛЬНО И ВНИМАТЕЛЬНО В ЖИЗНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ, КАК СЕГОДНЯ, КОГДА НА ЕЕ ПРОСТОРАХ ПРОИСХОДИТ ГИГАНТСКОЕ ПО РАЗМАХУ И ГЛУБИНЕ ОБНОВЛЕНИЕ. И ЭТО НЕ ПРОСТО ЛЮБОПЫТСТВО, А ЗНАК ПОНИМАНИЯ ТОГО, ЧТО ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ СССР. НЕДАВНИЙ ВИЗИТ МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА ГОРБАЧЕВА В ЧССР, КОГДА СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ С СОВЕТСКИМИ ФЛАГАМИ, ПОКАЗАЛ КРАСНОРЕЧИВЕЙ ВСЯКИХ СЛОВ, ЧТО НАРОД ЧЕХОСЛОВАКИИ ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЕТ ХОД НАШЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ. ЛЮДИ УВИДЕЛИ НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ СОЦИАЛИЗМА. СЕГОДНЯ ШАБЛОНЫ И ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ, УСТУПАЯ МЕСТО ТВОРЧЕСКОМУ, НАУЧНО ОБОСНОВАННОМУ ПОДХОДУ К ВЫБОРУ ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ. — СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НАЧАЛ ЭТО ТРУДНОЕ И БОЛЬШОЕ ДЕЛО, НАДО, ЧТОБЫ И У НАС ОНО УГЛУБЛЯЛОСЬ, И В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОБЛЕМ НАКОПИЛОСЬ НЕМАЛО,— СКАЗАЛ ОДИН ИЗ ТЫСЯЧ И ТЫСЯЧ ПРАЖАН, ЯРОСЛАВ ЛАШТОВКА. МЫ ПУБЛИКУЕМ ИНТЕРВЬЮ, КОТОРЫЕ В ЭТИ МАЙСКИЕ ДНИ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ЛЕОНИД ПЛЕШАКОВ ВЗЯЛ У ЖИТЕЛЕЙ ПРАГИ.

Йозеф КОНЕЧНЫЙ, секретарь парткома завода «Ауто Прага». Работает на предприятии 41 год.

— В последнее время в нашем обществе наблюдается рост политической и социальной активности людей. Могу судить об этом по жизни нашего восьмитысячного коллектива. За последние месяцы мы провели на заводе несколько партийно-хозяйственных активов, причем два из них были специально посвящены вопросам ускорения и перестройки в Советском Союзе. Раньше, если говорить правду, такие собрания проходили довольно формально. Больше для отчетности. Теперь же народ идет на них, чтобы обсудить, как, используя советский опыт, можно решать наши собственные проблемы. Вот, например, связи с партнерами по кооперации. Наш завод — лишь одно из звеньев огромной системы предприятий по производству автомобилей. Много еще неразберихи, которую предстоит ликвидировать. И в этом, мы убеждены, поможет предоставление предприятиям большей самостоятельности, переход на самофинансирование. Ведь в ЧССР пока только три предприятия внедрили у себя хозрасчет, и то в порядке эксперимента.

Еще одна проблема. Мы хотели бы покончить с уравниловкой в производстве. Если каждый будет получать по труду, лентяи не смогут выезжать за счет чужой хорошей работы. Сегодня об этом идет разговор не только среди рабочих, но и обсуждается на официальных собраниях. Уверены, что такие обсуждения в конце концов могут дать реальный результат.

Интерес к СССР, к процессам, которые происходят в вашей стране, огромен. Особенно это проявилось во время пребывания Михаила Сергеевича Горбачева в Чехословакии. Он был здесь совсем недалеко, у наших соседей, на заводе «ЧКД-Прага». В тот день примерно 80 процентов рабочих нашего завода пошли встречать советского лидера. Полтора часа они прождали под проливным дождем, чтобы только увидеть и услышать человека, возглавляющего в братской стране перестройку, и тем самым как бы прикоснуться к событиям, которые всех нас волнуют. Кстати, вернувшись на завод, наши рабочие отработали те полтора часа.

Не скрою, есть у нас и скептики, выражающие сомнения, что все намеченное в СССР будет доведено до конца. Но большинство коллектива верит, что советские товарищи не ограничатся полумерами.

Ярослав БАЛИК, народный артист, председатель секции кино и телевидения Союза чехословацких драматических деятелей.

— В прошлом году я присутствовал на съезде кинематографистов СССР. По выступлениям делегатов, по встречам и разговорам со своими коллегами после съезда я увидел, что у нас очень много общих проблем, забот и совсем мало различий.

Мы чувствуем, что могли бы создавать более качественные фильмы и тем самым помогать людям осмысливать свою жизнь, делать ее духовно богаче. Однако нам всегда мешали косность, бюрократия, корни которой в том, что некоторым из руководителей давалась большая власть и в то же время возлагалась слишком маленькая личная ответственность за содеянное. Мне шестьдесят три года, за плечами десятки лет работы, двадцать пять снятых художественных фильмов. На своем веку я пережил много всяких реорганизаций, реформ в области нашего киноискусства и вижу, что чаще всего они не приводили к желаемому результату. Причины нужно искать в людях, стоявших у руководства нововведениями. Даже самая гениальная реформа не может дать жизненный результат, если ее будут проводить люди, неспособные к творческому мышлению. Мы сейчас стремимся создать творческие объединения с большей самостоятельностью. Но уверены, что решающий успех будет достигнут только тогда, когда дело возглавят талантливые режиссеры, актеры, сценаристы.

Наш писатель Карел Чапек писал, что в каждом человеке скрыт и герой, и поэт, и мыслитель одновременно. В нереализованных возможностях людей кроется огромный капитал, который невозможно измерять привычными экономическими эквивалентами, допустим, золотом, нефтью, углем и другими природными богатствами. Если мы сможем реализовать эти скрытые способности, это даст больше, чем открытие новых месторождений. Помочь проявиться внутренним человеческим резервам, я считаю, задача всех нас, в том числе и деятелей кино.

Недавно мы с Элемом Климовым подписали соглашение о сотрудничестве наших стран в области кино на этот год, предусмотрено расширение взаимного обмена делегациями, более тесные рабочие контакты.

В ГОДАХ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЗРЕЛА ИДЕЯ.
ОНА НЕ ТОЛЬКО ВЫСТОЯЛА, НО И ОКРЕПЛА,
ОБРАТИВ К НАРОДАМ СВОЕ ЛИЦО.
ВСЕ БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ
СТРОИТЕЛЯМИ СОЦИАЛИЗМА,
ВСЕ КРЕПЧЕ НАДЕЖДА.

СУДЬБА СТАРОГО ПА

● СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, ГДЕ ПОХОРОНЕН К. Н. БАТЮШКОВ

● МОГИЛА ПОЭТА

● ДАЛИ ЕГО РОДИНЫ

● УСАДЬБА БАТЮШКОВЫХ В ДАНИЛОВСКОМ

Фото Светланы **САФОНОВОЙ** и Михаила **САВИНА**

В Вологде доныне хорошо сохранился старинный двухэтажный особняк, в котором жил К. Н. Батюшков. Тут сейчас помещается небольшая выставка, посвященная жизни и творчеству поэта. В центре выставки — макет будущей экспозиции, рассчитанной на весь второй этаж дома. Макет вы-

арка

МЫ ОТМЕЧАЕМ СЕГОДНЯ 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА БАТЮШКОВА; ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РУССКИХ ПОЭТОВ. ОН БЫЛ ТОНЧАЙШИМ ЛИРИКОМ, ВИРТУОЗНЕЙШИМ СТИЛИСТОМ СВОЕЙ ЭПОХИ. ОН СПОСОБСТВОВАЛ, ПО ВЫРАЖЕНИЮ БЕЛИНСКОГО, ТОМУ, «ЧТО ПУШКИН ЯВИЛСЯ ТАКИМ, КАКИМ ЯВИЛСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО». ОН БЫЛ ГРАЖДАНИНОМ, ВОИНОМ, ГЕРОЕМ ВОЙНЫ С НАПОЛЕОНОМ. А ЕЩЕ — ВОПЛОЩЕНИЕМ ПРАВДЫ В ЛИТЕРАТУРЕ, АВТОРОМ ЕЕ ВЕЛИКОГО ДЕВИЗА НА ВСЕ ВРЕМЕНА: «...ЖИВИ, КАК ПИШЕШЬ, И ПИШИ, КАК ЖИВЕШЬ... ИНАЧЕ ВСЕ ОТГОЛОСКИ ЛИРЫ ТВОЕЙ БУДУТ ФАЛЬШИВЫ».

полнен вологодскими художниками С. М. Иевлевым и А. А. Комендантовым и получил уже известность: он экспонировался в Государственном Литературном музее, на выставке «Молодость страны» в Манеже. И все же это лишь макет.

Впрочем, в связи с юбилеем внимание и капиталовложения были направлены на создание другого музея — в селе Даниловском. Здесь тоже сохранился многократно перестроенный еще в прошлом веке деревянный усадебный дом Батюшкова, где располагался народный музей его имени. Теперь дом

отреставрирован или, вернее, практически построен заново — это, так сказать, реконструкция, дающая представление о периоде расцвета усадьбы. Но изысканная лепнина на потолках, сложная резьба на дверях, мраморный камин, позолоченная фурнитура к рамам, а также купленная в Ленинграде антикварная мебель, увы, не мемориальны. Самая большая ценность Даниловского — старинный парк. Это, пожалуй, единственное, что сохранилось здесь с тех далеких времен. Но в прошлом году аллею старых деревьев, посаженных в 1812 году пленными французами, залили асфальтом. Специалисты утверждают, что теперь вековые сосны и березы обречены на гибель.

Восстановлением парка долгие годы никто не занимался. И навести в нем, запущенном, порядок вряд ли под силу малочисленному коллективу Устюженского краеведческого музея, который теперь за него отвечает.

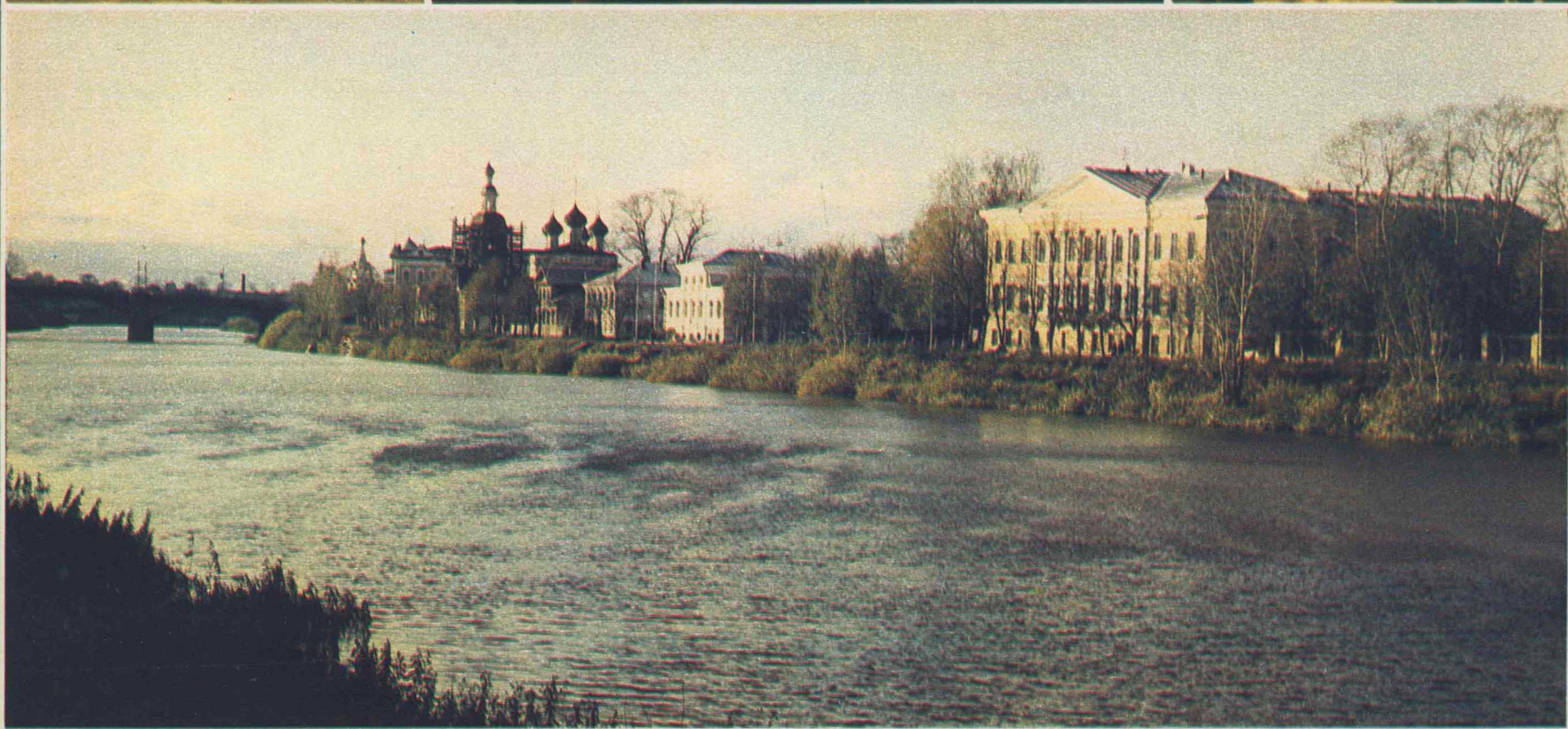
Итак, ситуация весьма странная—затрачены большие средства, но что создано! В отдаленном районе области (300 километров от Вологды) в неухоженном парке построен дом, имитирующий дворянскую роскошь, которая не имеет никакого отношения к поэту. А в самой Вологде мало что сделано, чтобы создать полноценную экспозицию о жизни и творчестве своего великого земляка.

Светлана **САФОНОВА**

ВОЛОГДА. ДОМ БАТЮШКОВЫХ, ГДЕ ТЕПЕРЬ НЕБОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА

К. Н. БАТЮШКОВ. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. 1840-е гг.

СТАРИННАЯ ВОЛОГДА.



Александр БАСМАНОВ

Опыты Батюшкова

1

*S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento? **
Вот что говорит Петрарка, которого одно имя напоминает Лауру, любовь и славу» — так осенью 1815 года начинает Батюшков прелестную миниатюру о Петрарке, мотив которой через очень много лет как бы похищает Бунин в «Прекраснейшей солнца», воскрешая образ все того же певца любви: «Смерть, где жало твое? Вспомни, что сказала Она, прекраснейшая солнца, возлюбленному своему, представ ему в ту самую ночь, когда предали ее тело могиле...» Чувствуете схожесть интонации и ритмических членений? Думаю, не ошибусь: Бунин затеял эту вещь, прочитав и вдохновившись Батюшковым или, по крайней мере имея его в виду, поскольку, во-первых, хоть и бывают странные сближенья, но редко, а во-вторых, потому, что вся история литературы (и остальных искусств) строится на такого рода заимствованиях: здесь ее, истории, эстафетность, суть движения.

Впрочем, о похищениях говорит и Батюшков, находя у Петрарки места, перенесенные потом к себе Вольтером и Торквато Тассо, говорит о похищениях и Ахматова — от Парни к Пушкину, который переплавлял добычу как горн; многое в горн попадало и от Батюшкова — возьмем прямые раскавыченные цитации в «Медном всаднике» из «Прогулки в Академию Художеств», возьмем «К другу» или «Песнь Гаральда Смелого»:

Нас было лишь трое на легком челне,
А море вздымалось, я помню, горами;
Ночь черная в полдень нависла с громами,
И Гела зияла в соленой волне...

Кажется, Фет сказал о нем, что звания учителя Пушкина в поэзии достаточно для его славы.

2

Вообще это была поразительная литературная картина: пять, шесть, ну, десять (сравним с сегодняшними тысячами) поэтов в России 1800-х годов: Державин, Львов, Капнист, Богданович, Долгоруков, Дмитриев, Василий Пушкин, Озеров, Мерзляков, Гнедич — кто еще? И все равно среди этих десяти Батюшков приходился «лишним»: он и писал иначе, и жил не так — отдельно, в другом, в золотом античном веке, в воображенном им мире, так как в настоящем — страшная для него тоска.

В «Прогулке по Москве» есть стих, буквально посвященный зевоте человека,

Который с год зевал на балах богачей,
Зевал в концерте и в собранье,
Зевал на скачке, на гулянье,
Везде равно зевал...

Это Батюшков написал о себе, дав вполне оправданный повод говорить о нем критикам как о первом онегинском типе русской жизни, ибо, естественно, «лишний» Онегин, до сведения скул зевавший средь модных и старинных зал, появился несколько позже, «внимая в шуме и в тиши роптанье вечное души, зевоту подавляя смехом». Не говоря уже о появлении следом Чацкого и Печорина, пусть меньше зевавших, но, может быть, еще больше лишних.

Чайльд-гарольдова батюшковская зевота — маска, внутри же не меньший дискомфорт, пресыщенность и изношенность души, на которой (его собственное определение) с рождения растет черное пятно, мучения от роковых невезений в любви при невероятной влюбчивости, ощущение полного одиночества даже на людях, среди которых ничто не интересно и где каждого гонит «какой-нибудь мститель-бог: кого Марс, кого Аполлон, кого Венера, кого Фурии, а меня — Скука». Она везде — в деревне, в Петербурге, в свете, в Европе, в писании стихов и под свистом пуль. В 1809 году он почти с хронологической точностью предсказал: «Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума».

3

Судьба Константина Николаевича Батюшкова абсолютно трагическая судьба. Он был забыт как литератор еще при жизни (да, пожалуй, и теперь много ли читателей знает его не по одному только имени?), в которой оказался неудачлив и беден, закладывая и перезакладывая свое жалкое именьице и не находя себя ни в какой службе, а о хронически несчастливых любовях уже сказано. Он, наверное, лучший поэт своего, допушкинского времени, издал всего лишь одну небольшую книжку, но зато многое уничтожил: все черновики, архив и те свои работы, которые находил несовершенными,— среди них такие крупные, как переложение библейской «Песни песней» и перевод «Божественной комедии» Данте. Он был изранен в боях с французами и тяжко болен, был он наказан и бездомьем: «Какую жизнь я вел для стихов! Три войны, все на коне и в мире на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совесть отвечает: нет».

Но самое главное, самое ужасное: дурная семейная наследственность. Умопомешательство деда, умопомешательство матери (сразу после рождения его, ставшего практически тут же сиротой), умопомешательство сестры Александры, но до нее умопомешательство самого Батюшкова — в самое цветение таланта, на тридцать четвертом году жизни прекратившее, наконец, в родовом доме вечное странничество этого поэта-скитальца, который опять же как пророк описал свой финал еще в «Судьбе Одиссея»:

...И чашу горести до капли выпил он;
Казалось небеса карать его устали.
И тихо сонного домчали
До милых родины давно желанных скал.
Проснулся он: и что ж? отчизны не познал.

У Ходасевича есть замечательная по неожиданности мысли статья — «Кровавая пища». Она о побоях, солдатчине, тюрьмах, ссылке, изгнании, нищете, каторге, пуле беззаботного дуэлянта, болезнях, самоистреблении, эшафоте и петле, то есть о «лаврах», венчавших часто чело лучших русских писателей — Радищева, Рылеева, Бестужева, Кюхельбекера, Баратынского, Пушкина, Чаадаева, Герцена, Достоевского. Она о столкновении пророка с действительностью, которая обязательно должна побивать, чтобы затем причислять к лику, она о ритуально жертвенном акте заклания, ибо «в жертву всегда приносится самое чистое, лучшее, драгоценное».

Но Блок и Гоголь, Есенин и Лермонтов, прожив катастрофически мало, все же успели сказать главное, то, собственно, ради чего явились на свет. С Батюшковым, отмеченным, как и они, печатью гения, дело обстоит определенно хуже: «Что писать мне и что говорить о стихах моих!.. Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!»

4

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю.
Их выразить душа не знает стройных слов,
И как молчать об них, не знаю.

Такое впечатление, что росток Тютчева пробивается именно отсюда. А кто еще в ту эпоху малоповоротливой словесности мог дать такой тонкой красоты образ смерти?

Когда в страдании девица отойдет
И труп синеющий остынет,—
Напрасно на него любовь и амвру льет,
И облаком цветов окинет.
Бледна, как лилия в лазури васильков,
Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов,
И суетно благоуханье.

5

Его детство, его воспитание, его молодость? С самого утра жизни — избранная литературная среда. В остальном все, как у многих родовитых дворян, но средней руки. Фамилия, известная со времени Грозного: служили, участвовали в заговорах, подвергались опале, снова выслуживались, получали чины и ордена, но при этом одновременно и постепенно проживались, нищали. К часу рождения Константина Николаевича у его отца оставалась всего вологодская тощая усадьба, где самым большим богатством были старинный парк и библиотека со множеством роскошных французских изданий.

Так же типично развивается схема и дальше: обязательный отъезд, петербургский пансион Жакино, потом другой пансион — Триполи, и вот тут уже начинается везение в части образования: оно выходит редким, высоким, классическим, то есть, помимо совершенного знания европейских языков (включая итальянский, который, как считают, Батюшков выучил первым из русских писателей) и литературы, совершенное знание латыни и соответственно античной культуры; а в пользу образования не только фактического — нравственного свидетельствует еще и полное послушничество у двоюродного дядьки, Михаила Никитовича Муравьева, отца знаменитого декабриста, крупного государственного человека и «самого порядочного русского».

Однако и это мало о чем говорит в пользу его артистического развития, как и довольно скучные месяцы подоспевшей статской службы, где по велению фортуны оказались рядом с ним Языков и Гнедич вместе со славным Олениным. В начале 1807 года Батюшков пресекает только что начатую карьеру и определяется добровольцем в прусский поход против Наполеона: «Падаю к ногам твоим, дражайший родитель, и прошу прощения за то, что учинил дело честное без твоего позволения и благословения, которое теперь от меня требует и Небо и земля»; 24 мая — огневое крещение под Гутштадтом, а 29-го в Гейльсбергском

* Что же я чувствую, если и это не любовь? (итал.)

сражении тяжелая мушкетная пуля, прорвав в мясе дыру величиной с голубиное яйцо, ударила ему навылет в левое бедро, и, истекающего кровью, «его вынесли полумертвого из груды убитых и раненых товарищей».

От момента страшного удара этой пули отсчитывается и первая любовь: находясь на излечении в доме негоцианта Мюгеля, он пережил сильнейший роман с его дочерью, золотоволосой узкой Эмилией, и любовь эта — единственный, пожалуй, раз — была счастливой:

Как ландыш под серпом убийственным жнеца
Склоняет голову и вянет,
Так я в болезни ждал безвременно конца
И думал: Парки час настанет.
Уж очи покрывал Эреба мрак густой,
Уж сердце медленнее билось:
Я вянул, исчезал, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приближилась, о жизнь души моей,
И алых уст твоих дыханье,
И слезы пламенем сверкающих очей,
И поцалуев сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милых слов
Меня из области печали,
От Орковых полей, от Леты берегов
Для сладострастия призвали...

— Одна из лучших элегий Батюшкова,— на полях его книжки воскликнул Пушкин, прочитав это стихотворение.

6

Сохранилось несколько портретов Батюшкова: маслом, сороковых годов, где он уже безумный, что понятно тем, кто знает даты, а на непосвященных же просто глядит пожилой лысеватый господин в галстухе и добротном суконном сюртуке; его собственный прелестный по отточенности карандашного арабеска автограф-изображение 1810-х годов и еще одна размашистая, в духе Орловского, самозарисовка между стихами, на листе рукописи: щегольской цилиндр и бакенбарды крупными кольцами.

Потом следуют двое молодых людей, кудрявых и благовоспитанного вида, как правило, гравировавшихся в дореволюционных изданиях. Из этого комплекта прекрасно выкладывается пасьянс жизни, и, от зари к закату, видно, как меняется некое человеческое лицо. Но есть еще один портрет, и он абсолютно выпадает из плавно подогнанного расклада,— овал волшебника Кипренского: черты лица тут будто бы и вовсе неузнаваемы, угловатее, острее батюшковских, тут возбужденный и, вместе, отсутствующий взор, обращенный куда-то вверх и вовне, но в то же время вглубь и вовнутрь, тут винтообразный ракурс движения и одновременно застылость постановки, тут виден поэт в момент творческой галлюцинации, в момент свидания со своей музой. Так вот он каков, сладострастный любовник античности!

О его стихотворном сладострастии и его эллинизме вдохновенно рассказал Белинский (лучшее из всего, что написано о Батюшкове), назвав этого человека «маэстро» и почти во всем, или, во всяком случае, во многом в нашей литературе первым: первым классиком (в смысле классичности стиля), первым из поэтов, в писаниях которого «художественный элемент явился преобладающим элементом» и писания которого на редкость скульптурны (они не только слышимы уху, но видимы глазу, как извивы и складки античного мрамора), первым, кто создал антологический (то есть идущий вслед античности) стих, «разве по языку и то весьма немногим уступающий антологическому стиху Пушкина», вообще первым, кто съединил русскую словесность с Элладой, этой «всемирной мастерской, через которую должна пройти всякая поэзия в мире, чтоб научиться быть изящною поэзиею».

Откуда взялись в нем силы на такой подвиг? Прежде всего через феноменальную образованность, потом через чисто музыкальный вкус к строке и ритму, потом через грациозную чувственность, которой он был одарен природой. Нега, страсть, вожделение, любовь — вот постоянные спутники его лиры, настроенной перстами самой мифологической «бесстыжей» древностью, красотой ее свободы и свободой ее красоты, которая отнюдь не музейна, как принято считать, но наполнена живой жизнью, трепещет, пульсирует и своими звуками всегда движется как бы crescendo *:

Все на праздник Эригоны
Жрицы вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней — она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом,
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград —
Все в неистовой прельщает,
В сердце льет огонь и яд!
Я за ней... она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг; она упала!
И тимпан над головой!
Жрицы вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по чаще раздавались
«Эвоэ!» и неги глас.

Все тот же Белинский обозначил «Вакханку» предвестницей полного переворота: «Это еще не пушкинские стихи; но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских».

7

И все равно, хоть и был сочленом всех этих «Вольных обществ любителей словесности» и «Арзамасов», он оставался за бортом литературной жизни. Из-за частых уединений в деревне, из-за крайней неуверенности в себе, из-за того, что не был записным поэтом, а считал себя профаном и дилетантом, из-за болезненности, наконец, из-за странности, новизны собственного звучания и воздушной легкости размера, хотя сейчас это, вероятно, трудно понять — рядом с гениальностями есть элегии, которые почти невозможно прочесть зараз, не отложив их, есть стихи, обремененные тяжеловесными длиннотами, а то и вовсе, выражаясь пушкинским словом,— плоскости. Пушкин исчеркал свой экземпляр «Опытов в стихах и прозе» замечаниями, и теперь видно, что замечания делятся почти поровну: «вяло», «плохо», «черт знает что такое», «плоско», и наоборот — «прекрасно», «прелесть», «совершенство», «гармония».

«Опыты в стихах и прозе», первая и единственная книжка Батюшкова, появилась в октябре 1817 года — она печаталась долго, на средства Гнедича, лучшего друга, который во время приготовления сборника выслушивал беспрестанно изливаемые страхи и сомнения автора. Выслушивал их и Жуковский: «Что скажешь о моей прозе? С ужасом делаю этот вопрос. Зачем я вздумал это печатать. Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые мне стоили столько, меня мучат. Но могло ли быть лучше?»

Нет сомнения, он знал свою двойственность, ямы и воспарения, новаторство только наполовину. Батюшков — новатор наполовину, Пушкин уже целиком, поглотив эту батюшковскую половину и добавив свою. Да и как могло быть иначе для него, бравшего и только пытавшегося менять язык, всего чуть вынырнувший из XVIII века? Он родился немного раньше для того, чтобы быть полным гением словесности, без изъяна, быть более глубоким, чем ярким, более самостоятельным, чем гибким.

Есть ходячая формула: Батюшков передал Пушкину «почти готовый стих», но это-то «почти» и говорит о чем-то недоконченном (как подмечал он сам, «ученическом и детском»), что, скорее всего, и невозможно было докончить в его время: «железное» столетие (чаще всего — от Баратынского до Блока — похищаемый батюшковский образ) только начинало свой бег, еще не затеняя прошлого, в том числе и в поэзии, и потому трудно найти даже в его золоте стихотворение, где бы ясная, энергическая строфа чудесного пушкинского, тютчевского, ахматовского дыхания не мешалась со строфой старинной фактуры и выделки.

8

Тем не менее он продолжал биться над звуками до конца. «Отгадайте, на что я начинаю сердиться? — это Гнедичу еще в 1811 году.— На что? На русский язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за Ы? Что за Щ, что за Ш, ШИЙ, ЩИЙ, ПРИ, ТРЫ? О варвары!»

В каком наречии видел Батюшков идеал благозвучия? В итальянском: «Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарка, из уст которого что слово, то блаженство». Бóльшим же блаженством было сделать что-то самому, вылепливать гармоническую оркестровку своей речи, исправлять «варварский» язык, и он исправлял насколько мог, усердно и кропотливо подчищая лист для пера тех, кого потом назовут лучшими писателями мира. Вот еще почему: первый. Да не просто изготовитель какой-то изящной безделки, а тот, кто, по мысли Пушкина, «сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского».

Но и это не конец первенствам лишнего поэта. Кто не знает его прозаического шедевра «Прогулка в Академию Художеств», в которой речь о Рафаэле, Корреджио, Сальваторе Роза,— речь писателя, чувствующего себя раскованно и самостоятельно не только в своем углу, но и в стенах другого храма — живописи. Это подмечено многими. Высказано же наиболее четко уже в наши тридцатые годы А. Эфросом, человеком, как известно, кое-что понимавшим и в словах, и в картинах: «Батюшков был Колумбом русской художественной критики. «Прогулка» — ее первый высокий, классический образец. Наше искусство впервые нашло в ней живую связь со своей литературой, со своей историей, со всей русской культурой начала XIX века. Батюшков создал здесь новый литературный жанр так же, как создал его в поэзии».

9

Начальные признаки душевной болезни появились летом 1820 года, в Неаполе, куда он отправился незадолго до того на дипломатическую службу, о чем мечтал и чего долго добивался. Эта поездка в Италию — последний шанс, им использованный, чтобы как-то превозмочь физические недомогания, о которых он стонет буквально во всяком письме, чтобы изжить из себя депрессию, почти постоянно глодавшую тоску, с ухмылкой именуемую на Руси хандрой, стереть с души черное пятно (об этом тоже в письмах чем дальше, тем больше). А еще, чтобы забыть неурядицы в семье и свою вторую, последнюю, но отрезанную им самим любовь — Анну Фурман, воспитанницу Олениных, почти невесту, не питавшую, впрочем, к нему никакого ответного чувства.

Если же брать внешнюю сторону той же самой, первой части его жизни, то она весьма фактурна. Ни Пушкин, ни Лермонтов не обладали таким сокровищем. Возможность скрываться пусть в нищем, но своем имении для литературных трудов; участие после прусской кампании еще и в походах финляндском и шведском; участие в качестве адъютанта легендарного генерала Раевского в «битве народов» под Лейпцигом, переход через Рейн и взятие Парижа; путешествия по Франции, Англии, и вот теперь — Италия, как грань между двумя мирами его сознания.

До нас дошла составленная со слов лекаря Дитриха зарисовка, по которой можно получить довольно ясное представление о том жутком, что случилось с этим замечательно умным и тонким человеком. Зарисовка относится к осени 1828 года, когда Батюшкова перевозили из Зонненштейна в Россию, и кажется любопытной потому хотя бы, что и в сумасшествии он бредил о чем-то возвышенном и прекрасном, о чем-то человечном и трогательном. Так, например, сидя в коляске, почти не двигался, но временами улыбался, «и так странно, что сердце содрогалось». Потом долго глядел на синее безоблачное небо и ежеминутно повторял: «Patria di Dante, patria d'Ariosto, patria di Tasso, o cara patria mia, son pittore anche io!» *. А потом попросил остановить экипаж, вышел из него, бросился на траву и долго и горько рыдал, вскрикивая: «Маменька! Маменька!»

В 1830 году у него в Вологде был Пушкин, но Батюшков не узнал Пушкина. Стоит ли упоминать о следующих годах тихого безумия? Наверное, только то, что через двадцать пять лет после этого печального визита он скончался от тифозной горячки, и тело его погребли в уютном и зеленом, как заросший сад, Спасо-Прилуцком монастыре, в пяти верстах от родного города.

10

Как-то еще в силе дара и красоты он выпустил из деревни письмо Вяземскому, чудесное по обилию мыслей, а также попытавшись определить в нем и свою роль в таком огромном и великом деле, каким является писательство. Известно, что в тот час в доме было тихо, и собака дремала у его ног, лишь изредка поглядывая на огонь в печке, и зимний ветер за окном шепотом перебирал верхушки сосен, и перо было новое и шло гладко: «Сядем выше недостойных. Если мы избрали словесность, то оставим в ней не одни цветы: плоды; а в обществе имя честного человека, во всей простоте сего слова, такое имя лучше всех титулов... Смейся, у меня есть свой характер, я это испытал на днях. Я умею подбирать в бурю паруса моего воображения. Слава богу, и этого довольно — на нынешние времена: вперед будет лучше. Тот уже много сделал на поприще нравственном, кто хотел что-нибудь сделать. Dixi» **.

Стало почти банальностью говорить, что восход Пушкина (упоминавшегося и тут чуть ли не через абзац) ослепил небосвод русской поэзии и заслонил дарования всех остальных его современников и предшественников, в том числе и златое дарование Батюшкова, но надо помнить: день всегда сменяется сумерками и в нашем безбрежном мире всему есть свой час и свое место.

* нарастая (итал.).

* Родина Данте, родина Ариосто, родина Тассо, дорогая моя родина. я ведь тоже художник! (итал.).
** Я сказал (лат.)

ЧЕЛОВЕК ПРОХОДИТ КАК ХОЗЯИН?

До последнего времени, признаюсь, все разговоры о жанре политического кино или политического театра казались от лукавого. Как, впрочем, и многие образцы этого жанра—фильмы типа «Тайна виллы «Грета»», «Одиночное плавание», «Контракт века», «ТАСС уполномочен заявить...», «Гдето в Европе». Кто-то остроумно заметил: политический спектакль — это когда одного героя зовут «Джон», а другого «Билл». И — добавлю от себя — действие, как правило, происходит в заграничной тмутаракани, впрочем, довольно уютной и непременно комфортабельной.

Но во всех случаях, если поскрести цветную пленку да отрешиться от импортного дизайна, то в лучшем случае обнаружишь голую информацию (разумеется, не первой свежести) о тех или иных международных событиях. Политинформация в красках и лицах известных актеров — вот что такое, как правило, политический фильм по вопросам международной жизни.

Впрочем, сегодня некоторые из документальных фильмов о жизни, так сказать, внутренней, воспринимаются как политические события. Один из них — «Архангельский мужик». Общественный резонанс, вызванный фильмом,— свидетельство того, что сама картина обнаружила болевую точку в нашей внутриполитической реальности...

Герой вызывал симпатию, а картина — неполное доверие. Герой заслонял проблему. Он подменял собой социально-производственный механизм. В жизни такое возможно в порядке исключения.

Искусство отражает жизнь или заблуждения на ее счет.

Одно из заблуждений — в том, что любую из прорех и пробоин можно залатать героизмом и самоотверженностью. Кино исправно его поддерживало, иногда с большим, иногда с меньшим успехом. Потому, когда вышел фильм «Остановился поезд», то многие зрители почувствовали себя обескураженными. Они рады были бы присоединиться к простой и человечной позиции журналиста, что восславил подвиг машиниста, ценой своей жизни предотвратившего тяжелые последствия железнодорожной аварии. В самом деле, человека не вернешь; так зачем докапываться до первопричины случившегося? Все, что можно сделать для семьи покойного,— поставить ему памятник. Но что-то явно мешало стать на сторону журналиста и городских властей. Мешало ощущение, что памятником люди откупаются от праведного суда. Для них были просто непонятны спор между следователем и журналистом и хлопоты авторов картины. Говорят, что картина не имела кассового успеха. Сравнительно недавно на страницах журнала «Искусство кино» было объяснено, почему не имела. Потому, мол, что человеку в силу естественных психологических наклонностей свойственно сочувствие тому, кто пожертвовал собой, спасая других, а всякое доискивание до причин и мотивов — от лукавого.

Стало быть, позицию вымышленного журналиста поддерживал реальный. Между тем жизнь, несмотря на неуспех у массового зрителя, подтвердила правоту вымышленного следователя. Теперь, после Чернобыля и Новороссийска, когда так много прибавилось работы у невымышленных следователей, лась. Теперь просто тупо ноет она у обитателей деревни Верново.

Комплекс социальной неполноценности — проблема многоязычная. Это в песне все ясно и достойно: «Человек проходит как хозяин...» Но вот «хозяин» входит в какое-нибудь учреждение, например, в жэк, чтобы получить справку с места жительства... о месте жительства в своем огороде или интерьере... Куда вдруг деваются его осанка, широкие плечи, вокальные данные? Перед должностным лицом всего-навсего проситель того или сего.

И вот человека, который проходит как хозяин, назначают председателем. Кажется, что плечи можно развернуть еще шире, приосаниться еще больше. Не тут-то было: Виктор Ножов замечает, что он не столько начальник, сколько исправник. Поводок ослаблен. Но едва Виктор Ножов обнаруживает поползновения к самостоятельности и хозяйственной инициативе, поводок натягивается.

Ситуация обостряется: сами руководители — всего лишь исполнители... Сегодня, как никогда, ощущается острый дефицит на руководителей-идеологов, на тех, кто способен вырабатывать стратегию хозяйствования и выбирать тактические средства претворения ее в жизнь.

В фильме предложена типология (по всей вероятности, неполная) хозяйственников бывших и настоящих. Среди них покойный Ферапонтов, что жил по подсказке. Здравствующий председатель в отставке Григорий — псевдоидеолог. Некий Тузеев — руководящая затычка к любой бочке. Но, пожалуй, особый интерес должен вызывать Иван Иванович Канталупов.

Он-то, казалось бы, хозяин во всем объеме этого слова. И великий стратег, и недюжинный тактик. Создал рентабельное, прибыльное хозяйство — красу и гордость района, области. Притом вершин достиг в условиях, когда административный поводок указаний, директив и начинаний был особенно коротким и предельно жестким. Канталупов представляет собой в коллекции руководителей тип искусного и искушенного дипломата. Об этом мы догадываемся по тем советам, которые он дает Ножову: когда и к кому обращаться за подписью и благоволением, с кем и в каких интонациях вести деловые беседы. Всех тонкостей не сочтешь. Но Ножов их пропускает мимо ушей, поскольку чувствует оборотную сторону дела. Сила Ивана Ивановича в слабостях всех рычагов экономического механизма. Между достатком Зареченского и оскудением Верново прослеживается прямо пропорциональная зависимость.

Изощренная дипломатия, как, впрочем, и динамичный нахрап — архаичные стилистики производственных отношений. Они обе от комплекса социальной неполноценности, который убыточен для общества и в экономическом, и в нравственном отношениях. Тем более что под крылом авторитета Ивана Ивановича, руководителя-идеолога, «расцветает» руководитель-исполнитель.

Более всего интригует судьба человека, который, несмотря ни на что, стремится остаться хозяином на принадлежащей ему земле. И мы видим, что герою ленты противостоит не просто инерция косности старого хозяйственного механизма. Против него определенная политическая концепция, никогда, впрочем, открыто не декларировавшаяся, но подразумевавшаяся как нечто самоочевидное. Суть ее проста: руководителю любого ранга удобнее иметь дело с исполнительным, но не самостоятельным работником. Правда, при одном условии.

Вот об этом условии и рассказывает, уже художественная, лента «Первый парень» (авторы сценария Е. Григорьев и О. Никич, режиссер А. Сиренко). Она тихо и скромно прошла на телеэкране осенью минувшего года. Между тем сегодня, когда общественное внимание привлечено к реанимации в человеке чувства социального достоинства, эту картину стоит обдумать и, разумеется, пересмотреть. Впрочем, последнее зависит от ТВ. А первое в наших силах и в нашей, как говорят в таких случаях, компетенции.

«Первый парень» — картина негромкая и неторопливая. Начинается она «за упокой», разговором на поминках по умершему председателю колхоза. И кончается не так чтобы уж «за здравие»: десятка полтора людей под промозглым дождем выбирают картошку на поле, которому конца и края не видать. Это не картина победного торжества. И даже простого морального удовлетворения не возникает от того, что несколько студентов-добровольцев присоединилось к колхозникам и всех их вместе снимают кинематографисты-документалисты.

Возникает и укрепляется впечатление, что конкретная социально-экономическая ситуация не разрешена и что на тех основаниях и принципах, с которыми мы свыклись и к которым притерпелись, она и не может быть разрешена.

Что правда, то правда: картина не ободряет, но по крайней мере прибавляет трезвости и ясности в понимании реального положения.

«Председатель», помнится, кончался панорамой тучного стада коров, как бы венца титанической деятельности героического Егора Трубникова. фильм «Остановился поезд» покажется широкой публике более понятным и доходчивым.

Дойдет до широкого зрителя и «Первый парень». Поскольку становится яснее ясного, что не затыкаются хозяйственные прорехи внеэкономическими средствами. И сознательная самоотверженность мало чем может пособить. Чтобы это стало еще более очевидным, авторы выбирают в герои фигуру не слишком импозантную, стараются подчеркнуть его обыкновенность и естественность его решения — впрячься в неподвижный воз родного колхоза. Желание не от избытка сил, романтических порывов, идеалистических иллюзий. Герой совсем не похож на «человека со стороны», как, впрочем, и на «человека на своем месте». Герой того фильма, помнится, играл своими деловыми качествами, как культурист мускулатурой. Потом появилась целая плеяда деловых культуристов, но со знаком минус — герои, что выведены в фильмах «Прохиндиада», «Искренне ваш»...

Авторы улавливают признаки и симптомы кризиса социальной общности.

Односельчане «первого парня» Виктора Ножова рассказывают случаи из жизни своего колхоза, похожие на анекдоты. Например, байку про то, как их сухопутный, но отсталый колхоз чуть не преобразился в развитое, но рыболовецкое хозяйство. Байка смешная, а никто не смеется — только усмехаются. И видно по всему, что люди здесь не столько живут, сколько доживают. Доживают устало и безразлично. По отдельным репликам можно догадаться, что за связь распалась: истлела взаимозависимость между общественно и лично полезным трудом. Оказалось, что это две противоположные сферы деятельности. Показательна фигура агронома, мелькнувшая в первых кадрах. На своем приусадебном участке он — хозяин. В колхозе — исправный исполнитель всяких чужих указаний. Один окопался в своем огороде, другой — в интерьере своей благоустраиваемой квартиры. Все прочее — служба, контора, департамент, где «как скажут и как прикажут».

Свой огород или интерьер хоть на выставку — за остальное душа не болит. Вернее, отболе-

Круг, как говорят в таких случаях, замкнулся. Психология исполнительства проникает во все поры общественной практики. Кинематографисты-документалисты, что снимают фильм о Ножове, тоже ведь всего лишь исполнители: они делают фильмы по тому же шаблону, по которому уже сделано превеликое множество картин.

Образуется нечто вроде круговой поруки исполнителей. Все они берутся дружно за дело. Тем дружнее, когда находится человек, который подводит теоретический фундамент под это мероприятие. Молодцов, руководитель и наставник студентов, отвечающий за их добросовестную работу на колхозном поле, доходчиво объясняет философию исполнительства: живем сегодня. Это значит, что ничего, кроме сегодняшнего дня, не существует. И все тяготы, и все радости могут уместиться в «сегодня».

«Сегодня» гипертрофируется, и связь времен не выдерживает натяжения, распадается. Она распадается даже в том случае, если мы пропалываем и обихаживаем общественный огород не за страх быть отчисленным, а за чисто символическую плату.

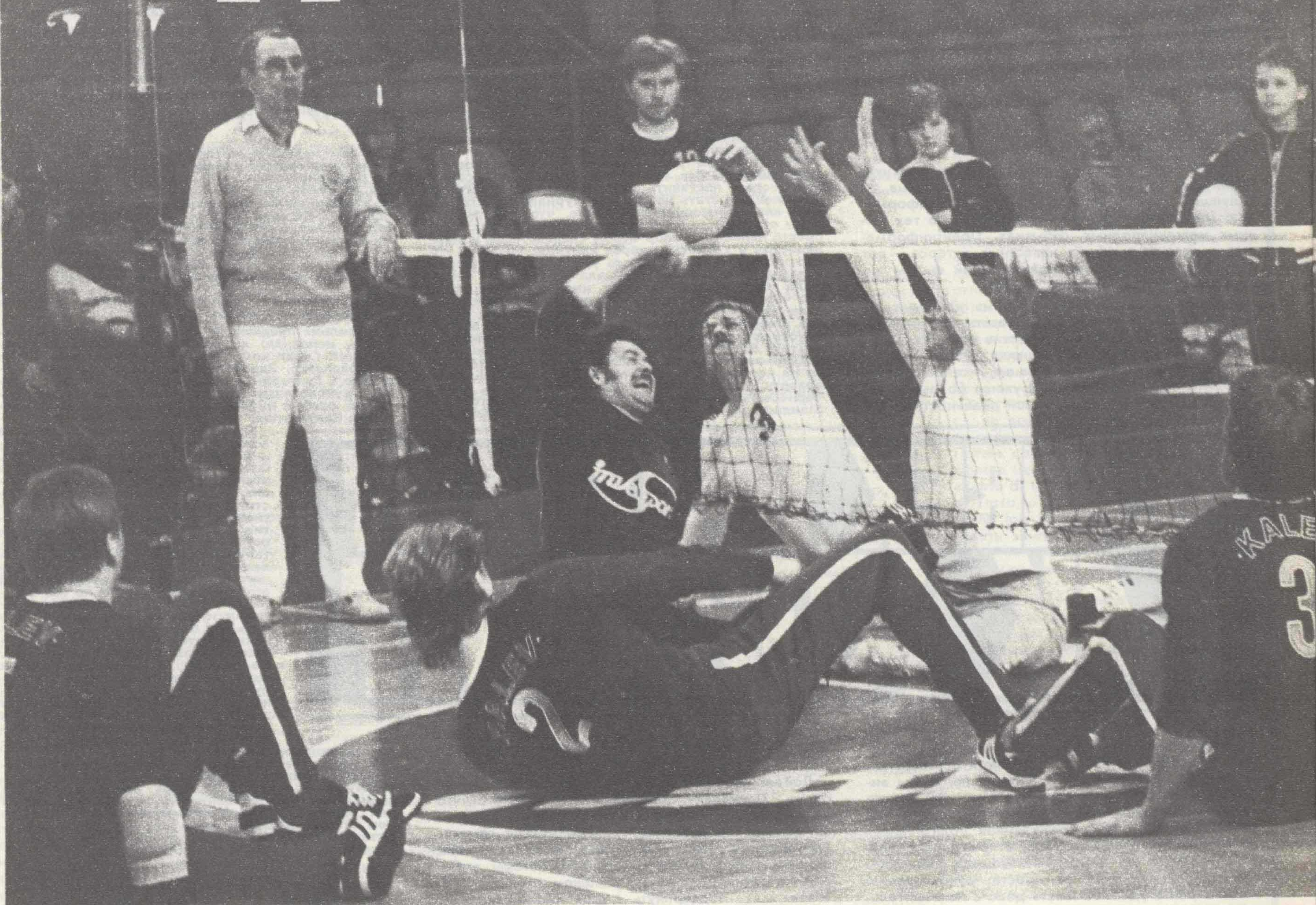
Теперь открылось, что возможна такая ситуация, когда человек, аккуратно выплачивая гражданские долги, может остаться в долгу и у себя, и у общества, часто неоплатном. Теперь открылась опасность круговой поруки временщиков на всех этажах нашего общежития. Выход в том, чтобы восстановить авторитет завтрашнего дня.

В сущности, «первый парень» хлопочет именно об этом.

Об этом, в сущности, «хлопотал» и минувший съезд кинематографистов, спокойным и рассудительным комментарием к которому и стал фильм «Первый парень».

Что правда, то правда — живем не вечно. Но живем в пространстве вечности.

СИДЯЧИЙ ВОЛЕЙ



Когда высоченные, почти двухметровые финны появились на волейбольной площадке таллинского «Спортхалле», мой сосед по трибуне в сердцах воскликнул:

— Они часом не заблудились?! Им бы надо с московским ЦСКА сыграть!

Финны и в самом деле выглядели внушительно. Стройные, сильные мужчины. Оно и понятно — спортсмены. Если бы не костыли, которые остались у границ площадки.

Свисток судьи, подача... Игра сразу же превратилась в захватывающее зрелище. Я, конечно, стал болеть за «своих» и несколько раз ловил себя на том, что забываю про фотоаппарат. И про то, что вижу совершенно необычный волейбол — сидячий, что передо мной инвалиды... Шло состязание не столько в ловкости владения мячом, сколько в мужестве, в духовной стойкости людей, не сломленных тяжкой своею судьбою...

Так проходили игры первого в нашей стране международного турнира по сидячему волейболу. Этот вид спорта пользуется популярностью у инвалидов многих стран мира, он входит в программу Олимпийских игр инвалидов, которые обычно проводятся в тот же год и на тех же площадках, что и обычные Олимпиады.

А у нас «первой ласточкой» стал эстонский «Инваспорт». «Огонек» уже рассказывал об этой спортивной федерации. Всего четыре года назад горстка энтузиастов устроила летний лагерь для отчаянных смельчаков-инвалидов, рискнувших отказаться от самоизоляции в стенах своих домов. После этого спортивное движение инвалидов стало развиваться так стремительно, что сегодня можно уже порадоваться успехам. Спортивные клубы инвалидов созданы уже во многих городах Советского Союза. На таллинский турнир смогли приехать мужские и женские команды «Ортспорт» из Ленинграда, «Оптимист» из Риги, «Драугисте» из Вильнюса. Организаторы подготовили сразу две мужские команды и одну женскую. Как показали игры, все три оказались достойными соперниками для опытных заграничных спортсменов-инвалидов.

Капитан первой сборной «Инваспорта» архитектор Валерий Фалкенберг признался мне:

— Мы серьезно готовились к играм и даже были уверены, что легко обыграем финнов. Но, как говорится, спорт непредсказуем, мы заняли в турнире второе место. Тоже неплохо для начала, правда? Остается утешать себя тем, что победа досталась соперникам в почти равной борьбе. Счет последней партии 15:13...

А гости победой очень довольны. Обещают и впредь участвовать в таллинском турнире по сидячему волейболу, который объявлен традиционным и будет теперь ежегодно проводиться в марте. Руководитель спортивного клуба инвалидов финского города Котка Паули Танни, отвечая на мои вопросы, рассказал:

— В Котке на пятьдесят девять тысяч жителей — триста пятьдесят инвалидов. Все они занимаются физкультурой и спортом. В Таллин приехали пятнадцать человек: два школьных педагога, бригадир рабочих автосервиса, вахтер. Остальные живут на пенсию, которую государство выплачивает людям, потерявшим двадцать пять процентов трудоспособности. Все члены команды в недавнем прошлом перенесли тяжелые операции на позвоночнике, у одного парализованы ноги. Только благодаря спорту мы живем полнокровной жизнью. До прошлого года команда Котки играла во второй лиге национального чемпионата, а теперь мы добились права выступать в высшей. За границу выезжали первый раз три года назад и обыграли сборную Венгрии 3:0.

Объективности ради следует признать, что финская команда показала игру техническую, рассудочную, тактически умную. Нашим ребятам есть чему поучиться у гостей из Котки — кстати, города-побратима Таллина.

Таковы впечатления от турнира. Однако значение его выходит и за пределы «Спортхалле», и за пределы спорта вообще: «Инваспорт» самим своим существованием создает в Эстонии новый психологический климат. Инвалиды на улицах уже не вызывают у прохожих желания поделиться с «убогим» рублевкой или, отвернувшись, перейти на другую сторону тротуара. На роскошных мраморных ступенях лестницы

БОИ

Роман ДМИТРИЕВ

Фото автора

оперного театра «Эстония» недавно появились скромные полоски металла. Не бог весть какое сложное сооружение, но благодаря ему инвалиды-колясочники смогли посещать оперные спектакли.

Строятся пандусы и в других театрах города...

Члены «Инваспорта» пришли к единодушному мнению, что сейчас в стране нет такого государственного органа, который мог бы составить научно обоснованную заявку для промышленности на специальные средства механизации. Никто толком не знает, в чем именно, в каких приспособлениях нуждаются инвалиды, и если приспособления производить, то в каком количестве. Никто не проводил серьезных исследований. Даже во время всесоюзных переписей в анкетах не было вопросов, которые дали хотя бы приблизительный ответ на такой, к примеру, конкретный вопрос: сколько в стране потенциальных покупателей инвалидных колясок?

Глупо изобретать велосипед — надо смелее пользоваться уже сделанным. Но даже для изучения заграничного опыта, потребностей рынка, для подготовки чертежей промышленности потребуется, видимо, не один год. Поэтому вполне логична мысль о создании кооперативного предприятия, на котором сами инвалиды смогли бы быстро выполнять заказы нуждающихся в нестандартном оборудовании и приспособлениях. Идея понравилась всем, но когда инваспортовцев прямо спросили, кто согласен работать в таком кооперативе, нашлось всего... пять желающих. Остальные уже работают и очень дорожат достигнутым положением.

Такой результат опроса можно было предугадать. Инваспортовцы — лишь небольшая группа в огромной армии инвалидов, к тому же они благодаря своему увлечению уже успели как-то устроить свою активную общественную жизнь. Вот почему эстонское телевидение обратилось с призывом ко всем заинтересованным зрителям передачи «Очешник»: либо принять непосредственное участие в создании кооператива инвалидов, либо поделиться техническим опытом решения специфических проблем, высылая в адрес «Очешника» чертежи или эскизы.

Мне кажется, этот призыв обращен ко всем нам, ныне здоровым и бодрым: и к молодым, и к людям среднего возраста, и тем более к пенсионерам. Все, кому повезет дожить до глубокой старости, в той или иной степени столкнутся с теми же бытовыми проблемами, какие подстерегают инвалидов на каждом шагу: тугая ручка водопроводного крана — препятствие, крутая лесенка без перил — тоже, отсутствие лифта в общественном здании — и здание становится «недоступным»... Любому дальновидному человеку понятно, что в его интересах как-то приспособить жизнь для пострадавших от недуга людей, а значит, сделать наш мир более гуманным.

ШЛО СОСТЯЗАНИЕ НЕ СТОЛЬКО В ЛОВКОСТИ ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ, СКОЛЬКО В МУЖЕСТВЕ, В ДУХОВНОЙ СТОЙКОСТИ ЛЮДЕЙ, НЕ СЛОМЛЕННЫХ ТЯЖКОЙ СВОЕЮ СУДЬБОЮ. ТАК ПРОХОДИЛИ ИГРЫ ПЕРВОГО В НАШЕЙ СТРАНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО СИДЯЧЕМУ ВОЛЕЙБОЛУ.

ПОХОЖДЕНИЯ ГУВЕРНАНТКИ

Кристина Хассинен была разоблачена случайно. Если бы не добросовестность дружинников, которые в праздничный день второго мая в уютном дворике недалеко от площади Пушкина задержали двух фарцовщиков, пытавшихся сторговать двум молодым женщинам заграничные тряпки, то, возможно, Кристина Хассинен еще и продолжала бы свою деятельность.

После того как выяснилось, что одна из женщин иностранка, к тому же она отказалась показать документы, в отделение милиции был приглашен представитель МИД СССР.

В его присутствии из сумки Хассинен была извлечена любопытная книга на английском языке — «Ференц Лист — человек и музыкант», в которой ни слова не было о Листе — сплошь антисоветская пропаганда и призывы к третьей мировой войне. Кроме книги, в сумке была обнаружена пачка советских денег, подзарядное устройство и самое интересное — проявленный текст, исполненный тайнописью.

Гражданка Австрии Кристина Хассинен оказалась эмиссаром зарубежной Единой христианской организации. Она приехала в Москву в октябре 1986 года под видом гувернантки атташе американского посольства Фреда Менка. За время своего пребывания пыталась создать подпольную группу, снабжала ее деньгами, антисоветской литературой, средствами тайнописи.

Несколько слов о том, что собой представляет Единая христианская организация. Ее руководитель — некто Мун — достаточно известен. Крупный бизнесмен, возомнивший себя «мессией» освобождения мира от «коммунистической ереси». Религиозная платформа Муна представляет собой невообразимый коктейль из различных воззрений, шаманства, мистики и суеверий. Что касается его политической направленности, то здесь все предельно просто и ясно. Называя себя спасителем мира от коммунизма, Мун вкладывает доходы своей империи (в его владении — строительные корпорации, банки, верфи, судовладельческие компании) в создание «антикоммунистического интернационала», поддерживает при этом тесную связь с американскими спецслужбами. Отсюда и масштабность, и агенты, подобные Кристине Хассинен.

Кстати, история с Кристиной Хассинен не единична. В 1983 году в Калинине на сборище группы последователей ЕХО была задержана иностранная гражданка Памелла Карне, которая тоже была гувернанткой в семье американского дипломата Уильяма Планкерта.

Не хочется верить, что американские дипломаты были в курсе тех дел, которыми занимались в СССР их гувернантки.

Вряд ли подобные истории могут способствовать укреплению доверия между СССР и США. И, надеемся, это так же ясно понимают и сотрудники посольства США.

В. ВАЛЕНТИНОВ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЮ НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОГО БОЛЬШОГО АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛЬИ ГРИГОРЬЕВИЧА ЭРЕНБУРГА «ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ».

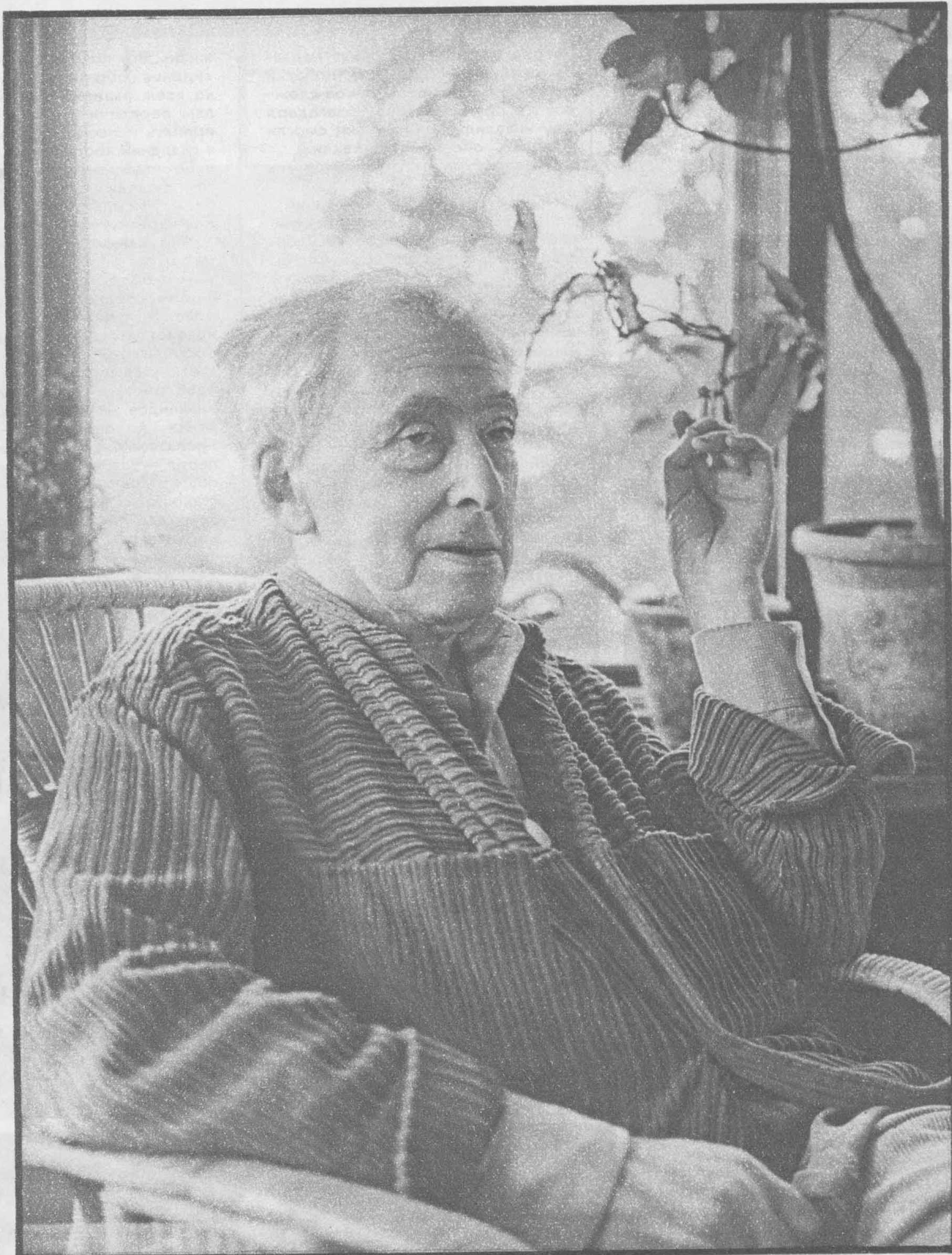
ОНИ СОДЕРЖАТ ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ О ПЯТИДЕСЯТЫХ И НАЧАЛЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ. ПУБЛИКУЯ ЭТИ ГЛАВЫ, РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК» СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЕМ НЕКОТОРЫМИ СООБРАЖЕНИЯМИ.

МЕМУАРЫ ПИСАТЕЛЯ НЕ УЧЕБНИК ИСТОРИИ, А ЖИВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА О ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СОБЫТИЯХ И ЛЮДЯХ ЭПОХИ, В КОТОРУЮ ЖИЛ, ТВОРИЛ МЕМУАРИСТ. ПОРОЙ БЫВАЕТ И ТАК, ЧТО НЕ СТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ И ЛЮДИ, ОПИСАННЫЕ В МЕМУАРАХ, ЗРИМО ВСТАЮТ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ЧИТАТЕЛЯ, СКОЛЬКО САМ ИХ АВТОР — СО ВСЕМИ СВОИМИ ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ И ПОИСКАМИ, ВЗЛЕТАМИ И ПАДЕНИЯМИ. «МОЯ КНИГА «ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ»,— ПИСАЛ ЭРЕНБУРГ В ПРЕДИСЛОВИИ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ СВОИХ МЕМУАРОВ,— ВЫЗВАЛА МНОГО СПОРОВ И КРИТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ.

В СВЯЗИ С ЭТИМ МНЕ ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО ЭТА КНИГА — РАССКАЗ О МОЕЙ ЖИЗНИ, ОБ ИСКАНИЯХ, ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И НАХОДКАХ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.

ОНА, РАЗУМЕЕТСЯ, КРАЙНЕ СУБЪЕКТИВНА, И Я НИКАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ ДАТЬ ИСТОРИЮ ЭПОХИ ИЛИ ХОТЯ БЫ ИСТОРИЮ УЗКОГО КРУГА СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ... ЭТА КНИГА — НЕ ЛЕТОПИСЬ, А СКОРЕЕ ИСПОВЕДЬ...»

КОГДА МЫ ГОТОВИЛИ К ПЕЧАТИ РУКОПИСЬ, ТО ИНОГДА ВОЗНИКАЛО ЖЕЛАНИЕ УБРАТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ ФАМИЛИЮ, СМЯГЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ АКЦЕНТЫ,—СЛОВОМ, «ПРИЧЕСАТЬ» ИСПОВЕДЬ И. Г. ЭРЕНБУРГА. ВИДИМО, СРАБАТЫВАЛА ВЫРАБОТАННАЯ ГОДАМИ ПРИВЫЧКА. К ТОМУ ЖЕ С РЯДОМ ОЦЕНОК ЛЮДЕЙ И СОБЫТИЙ МЫ НЕ БЫЛИ СОГЛАСНЫ. ОДНАКО, ИЗМЕНИВ ЧТО-ЛИБО В РУКОПИСИ, МЫ НЕВОЛЬНО ПОПЫТАЛИСЬ БЫ СКОРРЕКТИРОВАТЬ МЫСЛИ ДА И САМУ ЖИЗНЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА. КРОМЕ ТОГО, НА ПАМЯТЬ ПРИШЛИ СЛОВА А. Т. ТВАРДОВСКОГО, ПЕЧАТАВШЕГО ДВАДЦАТЬ С ЛИШНИМ ЛЕТ НАЗАД В ЖУРНАЛЕ «НОВЫЙ МИР» МЕМУАРЫ ЭРЕНБУРГА. «НАМ,—ГОВОРИЛ ТОГДА ТВАРДОВСКИЙ,— ТОЖЕ НЕ ВСЕ НРАВИТСЯ В КНИГЕ ИЛЬИ ГРИГОРЬЕВИЧА. НО МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ПРАВИЛЬНО ПОСТУПАЕМ, ЕГО ПЕЧАТАЯ. НИКТО ИЗ ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЕРСТНИКОВ НЕ РЕШИЛСЯ ТАК ШИРОКО ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ПРОЖИТУЮ ИМИ СЛОЖНУЮ ЭПОХУ И СВОЙ ОПЫТ В НЕЙ, А ЭРЕНБУРГ ЭТО СДЕЛАЛ. ЧТО ЖЕ ДО УПРЕКОВ В СУБЪЕКТИВНОСТИ, ТО МЫ НЕ МОЖЕМ ТРЕБОВАТЬ ОТ СТАРОГО ПИСАТЕЛЯ, ЧТОБЫ ОН ЗАБЫЛ О ТОМ, О ЧЕМ ОН ХОЧЕТ ПОМНИТЬ, И ПОМНИЛ ТО, О ЧЕМ ХОТЕЛ БЫ ЗАБЫТЬ».



Илья ЭРЕНБУРГ

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

I

Мне снова приходится признаваться читателям в своем легкомыслии или, если угодно, в недомыслии: в 1959 году, написав первые страницы книги воспоминаний, я решил, что закончу повествование той порой, когда я сел за «Оттепель». Это было понятно: период, начавшийся весной 1953 года, был незаконченной главой истории, да я и не мог предвидеть, что судьба мне подарит еще несколько лет. Недомыслие оправдывалось незнанием. Однако в 1965 году, внося в шестую часть некоторые дополнения, я уже видел, что десяток прожитых лет — это новая седьмая часть моей книги. Правда, я частенько нарушал хронологию, прежде всего рассказывая о людях живых — о Пикассо, о Неруде или об ушедших после 1953 года — о Жолио-Кюри, Фадееве, Фальке,

Назыме Хикмете, Пастернаке, а в заключительной главе шестой части я коротко напоминал о некоторых событиях последующих лет.

Почему я обрывал книгу воспоминаний? Когда-то поэт А. К. Толстой закончил шутливую историю России откровенным признанием:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным.
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

Однако опубликование предшествующих частей стоило мне немалых усилий, и не страх перед трудностями останавливал меня. Нужно было время для того, чтобы кое-что разглядеть и понять. Теперь я знаю, что последнее десятилетие многое изменило и в жизни мира, и в моей внутренней жизни, мне есть о чем рассказать, и молчание было бы справедливо истолковано читателями как желание отмолчаться, духовно выйти на пенсию.

Я помню, как меня поразил в детстве оборванец, который, попросив у моей матери двугривенный, сказал: «Бедность, сударыня, не порок, но большое свинство». То же самое можно сказать и о старости: сил становится меньше, впечатлительность ослабевает, мир невольно сужается. Да и с тобой вместе стареют, болеют, а потом уходят твои близкие, друзья, сверстники. Это ощущение если не духовного одиночества, то бытовой одинокости грозит отъединением. Человеку моего возраста, который сознает такую опасность, приходится все время спорить не столько с другими, сколько с самим собой: он должен отстранить искушение брюзжать на новые нравы, отворачиваться от современного искусства, считать ошибкой все, что бурно, бесцеремонно врывается в налаженную жизнь.

Многие черты нашего времени могут казаться спорными, порой немилыми, но теперь я понимаю происходящие перемены куда отчетливее, чем десять лет назад. Я уже говорил, что XX век начался, если забыть про календари, в 1914 году, но только пятьдесят лет спустя он окончательно распрощался со своим предшественником, его лицо теперь резко обрисовано, и человеку, как я, засидевшемуся в жизни, глупо рассуждать о том, что искусство потускнело или что молодые люди чересчур рассудительны. Река истории, ставшая в сороковые годы подземной, начинает вырываться из темноты. Молодые люди различных европейских стран еще не созрели, они еще не уверены в своем назначении, но они уверены в своем пренебрежении к доверчивости, многословию, сентиментальности своих отцов. Они не похожи на подростков 1936 года, которые мечтали добраться до Испании, чтобы отстоять от фашистов Мадрид. Многие слова звучат по-другому: «баррикады», например, стали реквизитом романтического театра, «война» связана не с окопами или танками, а с атомным грибом, «космос» рождает дорожную лихорадку. Разворачивая газету, молодые люди начинают со спортивных новостей. Они любят выставки и на полотна Пикассо смотрят как на электронные машины, реже спорят о романах, хотя много читают, охотнее говорят об очередном полете космонавтов, о новой строительной технике или о футбольном матче. Их не обольщают кумиры прошлого, они хотят все проверить на ощупь, и многие, если не «вечные», то многовековые идеалы расползаются под непочтительной рукой, как пышные древние ткани.

Я встречал в разных странах отцов, валивших многое на детей: люди, пережившие ужасы войны, годы боев, фашистскую оккупацию, считают, что послевоенному поколению досталась куда более завидная судьба, с негодованием они говорят о росте хулиганства и преступности, о скептицизме и карьеризме молодежи. Что, однако, могли унаследовать от отцов молодые люди, которые начали выходить на сцену истории в послевоенные годы? Наивность одних, осторожность других, равнодушие третьих. Вчерашний героизм солдат заслонялся будничным малодушием и растерянностью демобилизованных. Еще нужно было отстраивать разбомбленные города: для молодых рук было вдоволь работы, а для серьезных размышлений оставалось мало времени.

Наращивалось ужасающее ядерное оружие. В ООН, в различных парламентах и комиссиях все говорили о необходимости разоружения, и все продолжали вооружаться. Хиросима открыла новую школу, морали в ней не обучали. Юноши, слышавшие каждый день разговоры о том, что третья мировая война может начаться через год или через месяц, привыкли к жизни, связанной с ощущением возможности катастрофы. Люди привыкают ко всему — к соседству с вулканом, к землетрясениям, к циклонам, они привыкли и к возможности ядерной войны. Однако под прикрытием будней, работы или лекций, футбольных матчей или фильмов зреет новое сознание, набирает силы еще недавно высмеиваемая совесть.

Вьетнамская война может казаться различным государственным деятелям выгодной или глупой, нападением или защитой загнивающего строя, однако молодые люди повсюду, даже в самой Америке, видят прежде всего ее безнравственность. Ханжеский пуританизм, иго церкви сдались перед послевоенным поколением в большинстве западноевропейских стран. Начался культ тела, освобожденного не только от былых запретов, но и от былых эмоций. Фильмы передовых кинорежиссеров показывали встречи, где мужчин и женщин сводит скука, случайная прихоть, ранняя пресыщенность. Газеты заполняли свои полосы детальным описанием убийств, истязаний, изнасилований. Романтическая тоска подростков приносила доходы авторам скандальных репортажей, торговцам наркотиками, продюсерам дурных кинокартин. Когда я был подростком, я часто слышал слова «сорвать фиговый листок». Подростки в пятидесятые годы старательно обрывали капустные листья.

Теперь как будто намечается перелом: молодежь понимает, что наука или политика без морали, любовные похождения без любви — это тот заячий соус без зайца, о котором как-то говорил Достоевский. Что могла вынести французская молодежь из долголетней войны в Алжире, где представители мнимой культуры совершенствовали пытки? Да только отчаяние и взрывчатку. Могли ли перестать «сердиться» сердитые молодые люди Англии, читая о расправах в Кении?

Прошлый век оставил нам в наследство многие высокие принципы, и в молодости я считал, что расовые или национальные предрассудки доживают последние дни. Можно, конечно, отнести изуверство немецких фашистов к безнадежным попыткам изменить ход истории, однако и другие события последних двадцати лет говорят о росте национализма, порой расизма. Колонизаторы и американские рабовладельцы слишком долго попирали национальное и человеческое достоинство: накопилась лютая ненависть, счет представлен, и расплата проводится в той же монете. «Освободители», разумеется, лицемернее и гнуснее освободившихся. Я встречал бельгийских социалистов, проклинавших Лумумбу и требовавших военного вмешательства во внутренние дела Конго. Их английские единомышленники теперь отказываются вмешиваться во внутренние дела Родезии: не хотят применить силу к сторонникам расового насилия. Толстовцы в одном, каннибалы в другом, они сами приписывают к кровавому счету новые цифры.

Необходимо видеть мир таким, каков он есть, и не принимать желаемое за действительно существующее. Я не хочу этим сказать, что идея человеческой солидарности не верна, я по-прежнему убежден в ее правоте; но теперь я вижу петли длинного пути, которые порой выглядят как поворот назад, я знаю, что многое казалось нам куда более легким, быстрее осуществимым, чем оказалось на деле, и что потребуется немало времени, прежде чем принцип интернационализма станет обязательным для разномыслящего и разновозрастного человечества.

В повести «Скучная история», написанной Чеховым, когда ему не было еще тридцати лет, герой с горечью думает об отсутствии у него «общей идеи». Некоторые критики пытались истолковать эту повесть как тоску автора по религии, хотя Чехов был атеистом и никогда не пытался обмануть себя прикладной метафизикой. Старый медик в «Скучной истории» называл «общей идеей» некую сумму философских и моральных понятий своего времени.

Различные религии долго претендовали на монопольное обладание «общей идеей». Однако живое тело постепенно превращалось в мумию, катехизис оказался куда долговечнее веры. Я с любопытством читал отчеты о заседаниях Вселенского собора, созванного Ватиканом, они напоминали прения в одном из западноевропейских парламентов, хотя собор обсуждал не параграфы конституции, а догмы, слывшие прежде непогрешимыми: непорочность зачатия святой девы или ответственность евреев за распятие Христа. Либеральные епископы предлагали заменить железные цепи поясами из каучука. Приспособление древних догматов к современному сознанию вряд ли спасет их от смерти.

Середина пятидесятых годов означала для многих миллионов людей кончину различных мифов, воскресить их никому не дано. Конечно, жить под небом, где кружатся спутники, труднее, чем под небом, заселенным богами или ангелами. Труднее уверовать в силу человечности, чем в мудрость человека, возведенного в вожди. Но есть эпоха детства и эпоха зрелости, а эпохи не входят в ассортимент товаров — их не выбирают.

Когда я говорил о критическом отношении молодых людей нашего времени к идеалам прошлого, я думал о разномастных «общих идеях», которые их отцы принимали на веру, заучивали в младенчестве, как таблицу умножения. Юноши и девушки нашего времени отнюдь не удовлетворены неполнотой, необщностью «общей идеи», они хотят ее пополнить или создать из суммы точных познаний, личного опыта, частных и порой спорных обобщений.

После всего, что я писал в предыдущих частях моей книги, мне незачем настаивать на односторонности развития нового поколения. Молодые люди знают куда больше, чем чувствуют; с этим связаны не только оскудение философии да и других гуманитарных наук, но и падение роли искусства в жизни общества, обеднение чувствований, воображения, этики. Прежде гуманитарные факультеты представляли элиту наций, юноши искали ответа на мучившие их вопросы не только у Льва Толстого, но даже у Стриндберга, Леонида Андреева, Поля Бурже. Теперь математические и физические факультеты притягивают лучших людей нового поколения, там можно убедиться, что любовь к точности не убивает фантазии. Даже в области музыки, поэзии, живописи молодые физики куда более осведомлены и более требовательны, чем их товарищи — студенты философского, исторического или юридического факультетов. Видимо, надежды на гармоничного человека, на «общую идею», которая родится из раздумий и поисков молодых людей, нужно теперь связывать не с трудами запоздалых философов, будь они экзистенциалистами, неопозитивистами или неотомистами, и не с «культурной революцией», предпринятой догматиками, которые видят в любом движении критической мысли преступный «ревизионизм», а с дальнейшим развитием точных наук, с пробуждением в носителях знания сознания, совести.

Эта глава может озадачить некоторых читателей: чего ради, отметая философов, автор сам расфилософствовался? Такие обобщения полагается давать разве что в эпилоге, а я их выложил в начале последней части книги о моей жизни. Я буду говорить и о событиях, и о людях, и о себе. Поздний вечер был трудным и неспокойным, но я жадно приглядывался к молодым: человеку свойственно думать о будущем, даже если он знает, что для него там не будет места. Но мне хотелось до того, как начать рассказ, обрисовать хотя бы в самых общих чертах климат эпохи.

* * *

С того дня, когда я отнес в «Знамя» рукопись «Оттепели», до XX съезда партии прошло всего два года. В памяти многие события тех лет потускнели: 1954—1955 годы кажутся затянувшимся прологом в книге бурных похождений, неожиданных поворотов, драматических событий. Это, однако, не так. В моей личной жизни то время отнюдь не было тусклым: сердце оттаивало, я как бы начинал заново жить. Названные годы не были бледными и в жизни нашей страны. Начало справедливой оценки несправедливостей прошлого не было случайностью, оно не зависело ни от добрых намерений, ни от темперамента того или иного политического деятеля. Просыпалась критическая мысль, рождалось желание узнать об одном, проверить другое. Сорокалетние постепенно освобождались от предвзятых суждений, навязанных им с отрочества, а подростки становились настороженными юношами.

Просматривая старые газеты, я нашел в декабрьских номерах 1954—1955 годов восторженные статьи о «великом продолжателе дела Ленина», в них превозносились не только политические добродетели И. В. Сталина, но также его скромность, даже гуманность. «Литературная газета» за два месяца до XX съезда писала: «Сталин выступал против культа личности», далее говорилось о благотворном влиянии Сталина на развитие советской литературы. (За год до того мы узнали о посмертной реабилитации Бабеля, Чаренца, Тициана Табидзе, Яшвили и многих других.) Статьи ничего не выражали да и ничего не отражали. Сразу такие дела не делаются, и, если люди еще побаивались говорить о многом, в глубине их сознания подготовлялись события 1956 года.

Второй съезд писателей собрался через двадцать лет после первого, и его шутя называли по роману Дюма «Двадцать лет спустя».

В 1934 году писатели горячо спорили, съезд проходил во время больших, хотя и не оправдавшихся надежд, все было вновь. А второй съезд выглядел куда бледнее. Многие писатели умерли: Максим Горький, А. Н. Толстой, М. М. Пришвин, Ю. Н. Тынянов, И. А. Ильф, Л. Н. Сейфуллина, Ю. И. Яновский, А. С. Серафимович. На войне погибли Е. П. Петров, А. Гайдар, Ю. Крымов, Б. Лапин, З. Хацревин, Чумандрин, Борис Левин, Афиногенов; в годы беззакония навеки исчезли Бабель, Чаренц, Тициан Табидзе, Яшвили, Бруно Ясенский, Пильняк, Артем Веселый, Перец Маркиш, Д. Бергельсон, Квитко, М. Кольцов, И. Микитенко. Многие крупные авторы: Паустовский, Пастернак, Олеша, Вс. Иванов, Сельвинский, Светлов, В. Гроссман — значились в списке делегатов, но они не выступили, их даже не выбрали в президиум.

Среди иностранных писателей, приехавших на съезд, было немало известных — Арагон, Пабло Неруда, Анна Зегерс, Гильен, Назым Хикмет, Жоржи Амаду, Майерова, Садовяну; но в отличие от гостей первого съезда они ограничивались приветствиями или коротким обзором литературы своих стран, не принимая участия в обсуждении проблем, поднятых докладом и содокладами,— соблюдали нейтралитет.

Открыла съезд О. Д. Форш, ей тогда было за восемьдесят; она прочитала по бумажке: «Прежде всего хочется выразить глубокое уважение к памяти И. В. Сталина. Почтим память Иосифа Виссарионовича вставанием».

Докладчики не забывали давних оценок. Один из докладчиков, например, охарактеризовал повесть Казакевича «Двое в степи», которая в 1948 году рассердила Сталина, «не просто ошибкой талантливого писателя, а его решительным отходом от самого существа метода социалистического реализма». (Теперь в «Литературной энциклопедии» можно прочитать, что критика повести была «необоснованной».) Докладчик и содокладчики отзывались с похвалой об авторах не очень одаренных, но зато благонравных, хвалили и друг друга. В докладе Пастернак и Заболоцкий были названы только среди двадцати переводчиков. О Зощенко, разумеется, никто не упомянул.

Однажды на съезде было произнесено имя Марины Цветаевой. Полемизируя с С. Кирсановым, поэт Н. Грибачев сказал: «...если таким образом произвести цитатную операцию над некоторыми произведениями самого Кирсанова, то он на глазах почтенной публики легко может превратиться в нечто среднее между Мариной Цветаевой и купцом Алябьевым, который, по свидетельству Горького, писал такие стихи: «Пароходы, морозовы, гыр-гыр, гар-гар, гадят Волгу, портят воду, дым-дым, пар-пар...» (В 1954 году советские читатели не знали поэзии Цветаевой, теперь они смогут оценить слова Н. Грибачева.)

Докладчик А. А. Сурков, содокладчик К. М. Симонов осуждали мою «Оттепель» и «Времена года» Веры Пановой. Потом в разной форме такие же порицания были высказаны М. А. Шолоховым, В. В. Ермиловым, представителем ЦК комсомола А. А. Рапохиным, В. А. Кочетовым. Каждый из присутствующих понимал, что осуждение двух книг не было случайным совпадением писательских оценок.

Двадцать лет не прошли бесследно. Многие выступавшие ссылались на XIX съезд партии, припоминали слова Г. М. Маленкова о «наших Гоголях и Салтыковых-Щедриных». Некоторые, то ли по рассеянности, то ли от избытка рвения, защищали кампанию 1949—1950 годов против «космополитов», забывая, что многое в нашей стране изменилось. Доклады были длинными, порой я скучал, но уйти не решался — я ведь был обвиняемым, и это могло быть истолковано как бегство.

Добрые (или недобрые) пастыри, которые пасли писательское стадо, менялись. Некоторым это занятие нравилось. При Сталине все было просто: нужно было только узнать, как он отнесся к той или иной книге. После его смерти стало труднее. Были писатели, слишком доверявшие своему нюху: их оценки книг диктовались тем, как они видели завтрашний день. Я вспоминаю старый одесский анекдот: еврей спрашивает свою жену: «Что мне взять — зонтик или палку?» — «Возьми зонтик — может пойти дождь».— «А если дождь не пойдет? Я буду выглядеть дураком».— «Тогда возьми палку».— «Ну, можно ли слушать женщину! То она говорит — «возьми зонтик», то «возьми палку». А я ничего не возьму — я и не собираюсь выходить из дому». Предсказывать погоду — дело трудное, и во всех странах мира посмеиваются над просчетами институтов прогноза.

Писатели, доверявшие своему нюху, в конце концов поняли, что ошибались больше других, танцевали, когда гробовщик обмерял покойника, и плакали навзрыд, когда мамаши пекли пироги на свадьбу. Пастыри мало-помалу становились обыкновенными пастухами — без излишних теорий и без рискованных прогнозов.

В. Ф. Панову обвиняли в «объективизме». Эта формулировка прижилась. (Десять лет спустя мою книгу «Люди, годы, жизнь» упрекали одновременно и за «объективизм» и за «субъективизм», вероятно, потому, что два греха тяжелее одного.) Вера Федоровна не смогла приехать на съезд, и судили ее заочно. Я в своем выступлении сказал, что обвинение в «объективизме» Пановой мне кажется недопустимым. Вскоре после конца съезда я получил от Веры Федоровны письмо, она желала мне хорошего Нового года и добавляла: «...для всех нас желаю, чтобы и у нас, в нашем ремесле, наконец, наступила оттепель».

Все же я был не прав, сравнив второй съезд с первым. Одно дело первый бал, где танцуют, краснеют и влюбляются семнадцатилетние девушки, другое — чувства тридцатисемилетней женщины, прожившей нелегкую жизнь. В течение двадцати лет и писателей и читателей старались отучить от неподходящих мыслей. Однако многие выступления на втором съезде были интересными: писатели защищали достоинство литературы.

В. А. Каверин говорил: «Я вижу литературу, в которой редакции смело поддерживают произведения, появившиеся в их журналах, отстаивая свой самостоятельный взгляд на вещи и не давая в обиду автора, нуждающегося в защите... Я вижу литературу, в которой любой, самый влиятельный отзыв не закрывает дорогу произведению, потому что судьба книги — это судьба писателя, а к судьбе писателя нужно относиться бережно и с любовью... Я вижу литературу, в которой приклеивание ярлыков считается позорным и преследуется в уголовном порядке, которая помнит и любит свое прошлое. Помнит, например, что сделал Юрий Тынянов для нашего исторического романа и что сделал Михаил Булгаков для нашей драматургии». М. С. Шагинян сказала: «У критика, знающего, что роман хороший, знающего, что доводы против него неубедительны и бездоказательны, не хватает простого гражданского мужества встать на защиту романа и страстно за него бороться. Тем самым критик показывает, что ему в сущности очень мало дела до действительной оценки вещи, до ее правильного раскрытия, а главное, к чему он стремится,— это попасть в тон установившейся конъюнктуры...» Вот слова М. И. Алигер: «А виноваты общие условия литературной жизни, обстановка, сложившаяся в последние годы в Союзе писателей, где творческий разговор подменялся нередко начальственным стучаньем кулаков по столу, а всякое раздумье, попытка по-своему осмыслить и решить тот или иной вопрос, всякое доброе критическое намерение сразу именовались разными страшными словами». О. Ф. Берггольц привела пример: «Еще в 1949 году мы с вами знали, что пьеса Сурова «Зеленая улица» плохая пьеса и тоже лежит по сути за гранью литературы. Однако что было при обсуждении этой пьесы? Я перед съездом нашла номер «Литературной газеты» и руками развела, прочитав высказывания Софронова, что у него при чтении этой пьесы «растут крылья».

С. И. Кирсанов взывал: «Нам противопоказан учрежденческий стиль работы, и в нашем Союзе не должно быть ни начальников, ни просителей, ни условий, порождающих тех и других». Поэт А. Яшин высмеивал рассуждения «критиков»: «Замордовали лирику — и нас же в этом винят... Из любовной лирики у нас не вызывали ничьих возражений и прославлялись разве только стихи о вечной верности собственной супруге. Но чтоб не было никаких ссор, никаких размолвок и подозрений, насаждался своеобразный лирический бюрократизм». В. К. Кетлинская, рассказав, как роман В. Пановой «вдруг» начали чернить, так закончила свое выступление: «Мы хотим и требуем, чтобы любители проработок и убийственных ярлычков просто не могли просочиться на страницы печати, чтобы каждая такая попытка рассматривалась как нарушение норм социалистического общежития».

Мне было трудно говорить — я был проработан по первому разряду, весь облеплен ярлычками. Все же я сказал: «Можно только горько усмехнуться, представив себе, что стало бы с начинающим Маяковским, если бы он в 1954 году принес свои первые стихи на улицу Воровского... Один из руководителей Союза писателей, резонно говоря о значении «средних писателей», сказал, что без молока не получишь сливок. Продолжив это несколько неудачное сравнение, можно сказать, что без коров не получишь и молока».

На первом съезде нас глубоко трогали делегации читателей, порой наивных, но чистосердечно говоривших о своей любви к советской литературе. На втором съезде мы редко слышали читателей, но мы хорошо знали, как они выросли, знали, что порой они отбрасывают скверные книги, ждут правды и красоты. Однако и мы, писатели, успели освободиться от многих иллюзий. Мы уже понимали, что нелепо толковать на съездах о том, как писать книги, и что художнику косноязычие зачастую более свойственно, чем красноречие. Мы знали, что дело не только в секретариате Союза писателей, да и не только в критиках, которые, противореча себе, начинают вдруг поносить то или иное произведение, а в общих условиях нашей работы.

Я не стану останавливаться на произведениях советских авторов, лучше расскажу о судьбе перевода книги Хемингуэя «Старик и море». Это по крайней мере смешная история. В 1955 году решили выпустить журнал «Иностранная литература»; редактором назначили А. Б. Чаковского; мне предложили войти в редакционную коллегию. Я долго колебался и все же согласился — может быть, смогу помочь опубликовать ту или иную хорошую вещь. Александр Борисович говорил, что он собирается в одном из первых номеров напечатать новую книгу Хемингуэя, получившую осенью 1954 года Нобелевскую премию. Я ходил на собрания редколлегии, и вот вскоре редактор, мрачный и таинственный, сказал нам, что номер придется перестроить — Хемингуэй не пойдет. Когда совещание кончилось, он объяснил мне, почему мы не сможем напечатать «Старика и море»: «Молотов сказал, что это — глупая книга». Недели две спустя я был у В. М. Молотова по делам, связанным с борьбой за мир. Я рассказывал о росте нейтрализма в Западной Европе. Когда разговор кончился, я попросил разрешение задать вопрос: «Почему вы считаете повесть Хемингуэя глупой?» Молотов изумился, сказал, что он в данном случае «нейтралист», так как книги не читал и, следовательно, не имеет о ней своего мнения. Когда я вернулся домой, мне позвонили из редакции: «Старик и море» пойдет...» Вскоре после этого я встретил одного мидовца, который сказал мне, что произошло на самом деле. Будучи в Женеве, Молотов за утренним завтраком сказал членам советской делегации, что хорошо будет, если кто-нибудь на досуге прочитает новый роман Хемингуэя — о нем много говорят иностранцы. На следующий день один молодой мидовец, расторопный, но, видимо, не очень-то разбирающийся в литературе, сказал Молотову, что успел прочитать «Старик и море». «Там рыбак поймал хорошую рыбу, а акулы ее съели».— «А дальше что?» — «Дальше ничего, конец». Вячеслав Михайлович сказал: «Но ведь это глупо!..» Судьба книги зависела от любого обстоятельства внешней или внутренней политики; но об этом мне придется еще не раз говорить в последующих главах.

Недавно ко мне пришел В. А. Каверин. Мы заговорили о нашей литературе. Вениамин Александрович остался оптимистом, хотя той литературы, о которой он мечтал в 1954 году, не увидел, может быть, и не увидит. Он говорил, что любой средний писатель в любом журнале пишет теперь свободнее и что конъюнктурщикам пришлось потесниться. Правда, и объясняется это прежде всего духовным ростом читателей. Сто лет назад писатели учили молодую русскую интеллигенцию мыслить и чувствовать. Положение изменилось, и, как это ни парадоксально звучит, я решусь сказать, что теперь читатели многому научили среднего писателя.

* * *

Я просмотрел старые подшивки газет. 1954, 1955 и 1956 годы — последний до событий в Венгрии — были помечены некоторой разрядкой международной напряженности, или, как говорили западные обозреватели, началом «оттепели». Газетная бумага быстро дряхлеет, стареет, и листы кажутся хроникой далекого прошлого, однако слишком многие статьи могли бы быть написаны вчера. В те годы мы слишком предавались иллюзиям да и слишком легко отчаивались.

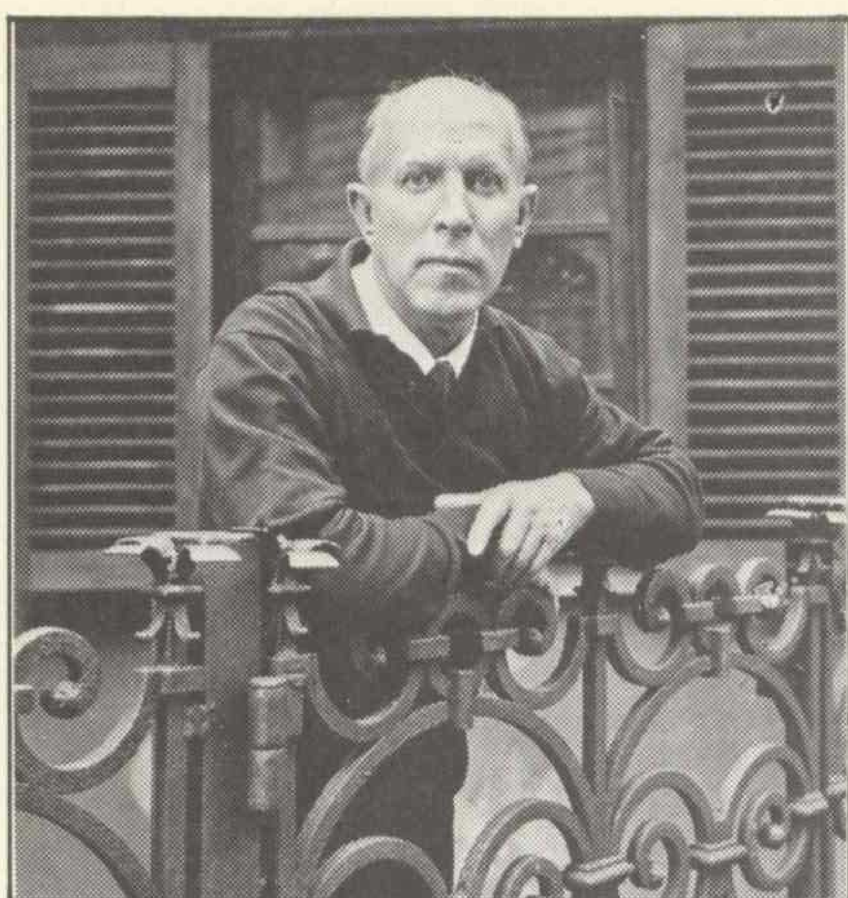
В мае 1954 года я попал в Париж — должен был вручить Пьеру Коту премию мира. После парижского конгресса мне не давали французской визы, это было неизменным, хотя правительства во Франции менялись каждые полгода. Я увидел Париж после пятилетней разлуки. Поехал я с Любой, и Кот уговорил нас поселиться в отдельной квартире, служившей ему рабочим кабинетом. Жил он в старой части Парижа — на острове Сен-Луи, где любой дом кажется историческим памятником.

Рано утром я бродил по узеньким уличкам Сен-Луи; влюбленные, расставаясь, долго, старательно целовались; на ручных тележках лежали букетики ландышей; старики прогуливали собачонок, а вечная чешуя Сены, что ни мгновение, менялась.

Однажды Пьер Кот сказал мне, что со мной хочет побеседовать депутат-радикал Мендес-Франс: «Это человек с будущим». Люба ушла к друзьям, и мы долго разговаривали. Мендес-Франс оказался молодым — ему тогда было сорок семь лет. Говорили мы о международном положении. Я сразу понял, что для Мендес-Франса я скорее почтовый ящик, нежели собеседник. Он сказал, что, по всей вероятности, скоро станет премьер-министром, говорил о том, что сможет сделать и чего нельзя от него ожидать; нужно во что бы то ни стало покончить с войной в Индокитае; лично он против «европейского оборонительного сообщества», то есть против создания многонациональной армии Западной Европы, однако необходимо считаться с пожеланиями Соединенных Штатов, да и глупо озлоблять канцлера Аденауэра. Мендес-Франс хочет улучшить отношения с Советским Союзом, но, помолчав, он угрюмо добавил: «Пусть русские не предаются чрезмерным иллюзиям — теперь не времена Народного фронта». Помню, вечером я сказал Любе: «Он скептик вдвойне — как Мендес и как Франс».

(Мы встретились с Мендес-Франсом двенадцать лет спустя. Многое успело измениться, и прежде всего отношения Франции к Вашингтону, Бонну, Москве. Но Мендес-Франс остался скептиком. Это умный и волевой человек, только сомнения или осторожность его часто останавливают. Политические противники говорят о нем с уважением. Один крупный голлист сказал мне: «Мендес мог бы стать министром финансов де Голля с большими полномочиями, но он предпочитает оставаться в оппозиции». Без соли не проживешь, но из одной соли никто не изготовит блюда.)

Поражение Франции при Дьен-Бьен-Фу помешало французам полюбоваться танцем Улановой — власти в запальчивости запретили спектакли московского балета,— но поражение привело к власти Мендес-Франса. Месяц спустя в парламенте он получил четыреста девятнадцать голосов, против него проголосовали всего сорок семь



ПАЛИТРА

СОПРИСУТСТВИЕ КУРТА ФРИДРИХСОНА

Акварели, пассажи, блоки художника Курта Фридрихсона не только раскрытие какой-то темы и не только лишь самовыражение. Это несколько отстраненный, но все же близкий нам диалог о самом главном. Фридрихсон постоянно как бы разговаривает с собеседником, конкретным человеком. Не в споре — в беседе, в столкновении неожиданных мыслей рождается правда Фридрихсона.

Вначале Курт Фридрихсон увлекался расширенной метафорой. Был и период живописи маслом, немного этих работ сохранилось, но они свидетельствуют о большом умении. И все же последние десятки лет художник отдает предпочтение фломастеру — «фломастеррисункам», «фломастеркартинам».

Внутренняя собранность и азартная выдумка — группировать акварели в блоки — необходимы ему. Акварель к акварели, окошко к окошку, продолжение без остановки. Формат акварели диктуется как самой темой, так и выставочным залом. Воплощенные краской — различные эмоции, душевные состояния.

Ни капли удобства, расслабленности, приблизительности.

Что желает нам сказать этот вечно присутствующий женский профиль, который все пронизывает наподобие музыкального контрапункта?

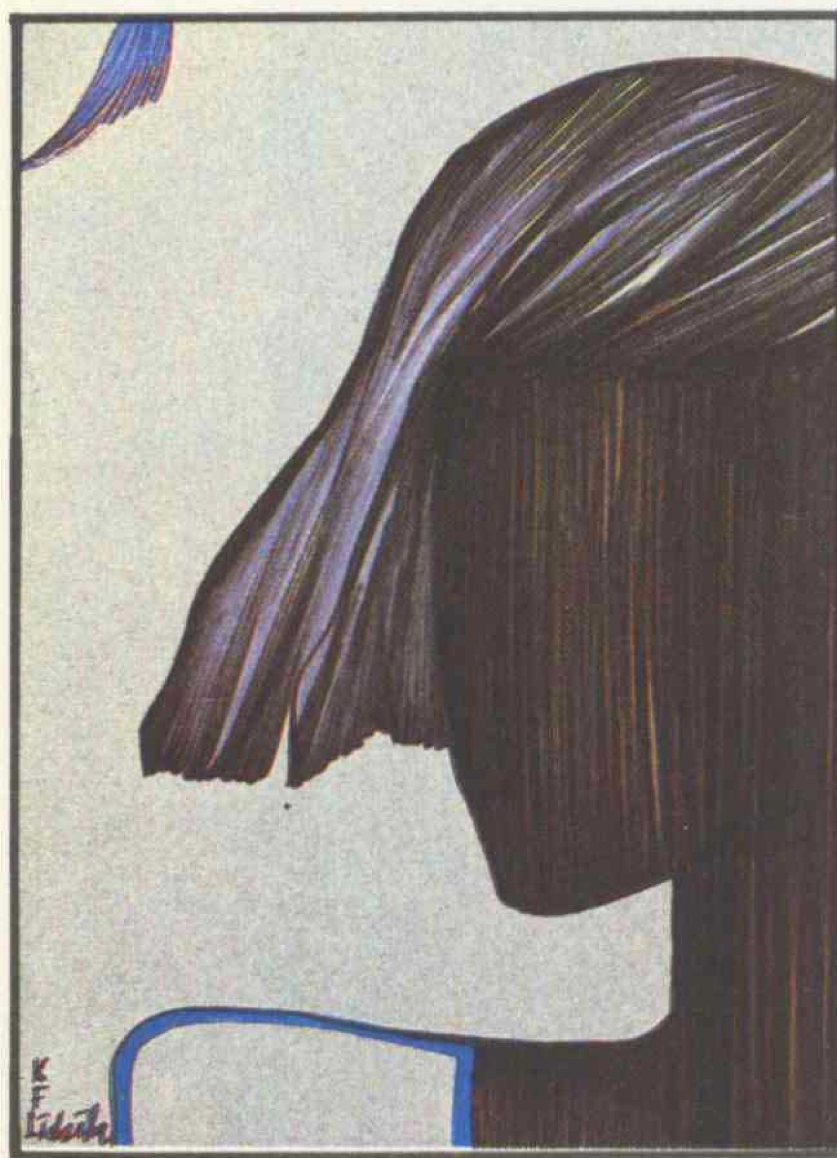
Разве солнце днем и луна ночью объясняют, почему они существуют? И разве судьба говорит: вот я пришла?

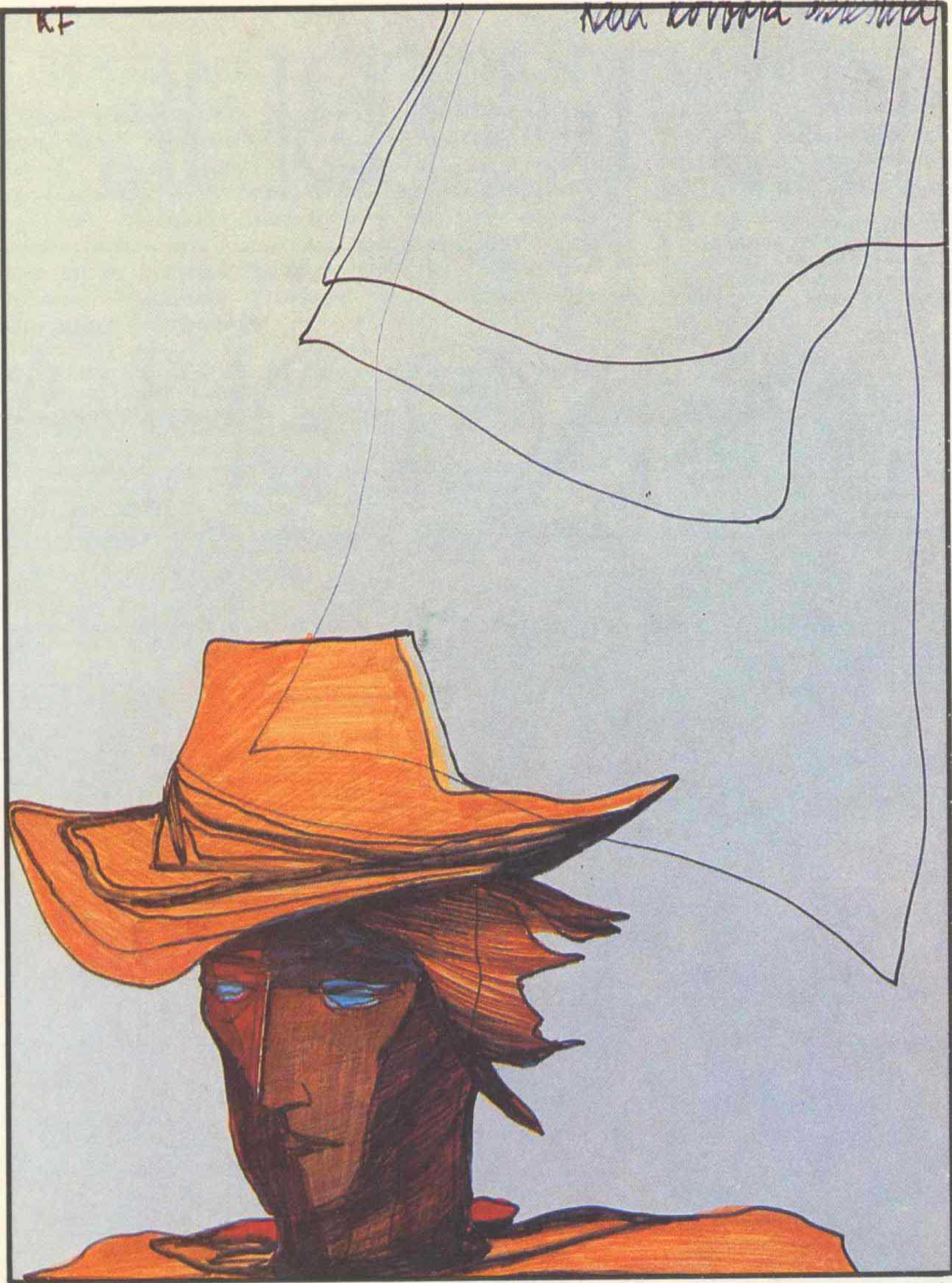
Сопристутствие, постоянное сопристутствие. Пульсирующее, неизменное. Хрупкое, яркое. Неисчезающее, нетленное...

«Индейская тропа», «Тема Шопена», «Гости и пассажиры», «Нигде не

НИГДЕ НЕ ЧУЖОЙ (В РАЮ ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИВОПИСИ).

ПРИТЧА.





ПЕСНЯ ОДНОГО КОВБОЯ.

чужой»... Циклы недавних лет. Последний цикл художник комментирует следующим образом:

— «Нигде не чужой» — это моя доля, часть мыслей человека двадцатого века. Были войны, уничтожения, страх, но были также райские часы — беседы, встречи с гениями... С теми, кто веровал в добро и верил себе.

Я сам испытал на себе все вихри в искусстве, как и в жизни. Никогда я не живописал то, что хотел, а лишь то, что сумел.

Нигде я не чужой. Никаких сомнений — нигде я не мог быть чужим. Можно сказать: все я видел. Или же сказать: все могло проецироваться во мне.

Художник стал более красочным — словно вырвавшись из столпотворения раздумий, словно оглядывая далекие дороги в пространстве и времени глазами поколений.

Пассажи Фридрихсона являются свидетельствами путешествий, которые предпринимает его находящийся в вечном движении дух. Путешествия в дали, в пространства и путешествия во времени. Путешествия не дают покоя, требуют беспощадной концентрации.

И в то же время работы Фридрихсона ничего не навязывают, они не апеллируют к вам, они свидетельствуют, они не пытаются вас завлечь, но они соприсутствуют... И вам хочется остановиться, что-то добавить, продолжить. «Я тебя продолжаю»,— говорит Поль Элюар, и это же ощущение исходит из каждого творения Курта Фридрихсона.

Когда я гляжу на пассажи Фридрихсона, у меня такое чувство, как будто это перекрестки, где мы с ним встречались, будто это отрезки пути, пройденные совместно.

Марис ЧАКЛАЙС

Рига.

НИГДЕ НЕ ЧУЖОЙ (В МИРЕ ОРХИДЕЙ).

депутатов. Женевская конференция министров иностранных дел, в которой участвовали Мендес-Франс, Фам Ван Донг, Молотов, Иден, Чжоу Эньлай и Даллес, положила конец войне в Индокитае.

Конференция признала единый и независимый Вьетнам, но приняла компромиссное решение — временно разделить его на две зоны, гарантируя общие свободные выборы в 1956 году. (С тех пор прошло не два года, а свыше двенадцати лет. Место Франции в Южном Вьетнаме заняли американцы. Что ни день, в Сайгоне менялись марионеточные правительства. Началась гражданская война. Американцы давно позабыли о решениях Женевского совещания, они заняты не выборами, а бомбежками Северного Вьетнама. Мир потрясен сопротивлением маленькой страны со слабой промышленностью нападению двухсотмиллионной индустриальной державы. А летом 1954 года не только я, но даже скептический Мендес-Франс считал, что в Юго-Восточной Азии воцарится спокойствие.)

Газета «Ле Монд» писала: «Было бы бессмысленным обеспечить мирное сосуществование в Юго-Восточной Азии, если холодная война будет продолжаться и обостряться в Европе. Один вопрос сейчас главенствует: будет ли вооружена наново Германия и если будет, то во имя чьих интересов».

В осень 1954 года было много надежд и много тревоги. Впервые за тридцать лет примолкли пушки, не падали бомбы.

В Стокгольме собралась сессия Всемирного Совета Мира. Недавняя победа приподымала четыреста человек, приехавших из разных стран. Мы помнили, как издевались газеты, когда мы предлагали представителям пяти великих держав сесть за круглый стол, и вот в Женеве именно это и произошло, некоторые сели неохотно, на самый краешек стула, но многолетней войне в Индокитае все же был положен конец.

Однако было достаточно оснований и для тревоги. Гонка ядерных вооружений усилилась. Америка настаивала на перевооружении Германии. Правда, в августе французский парламент значительным большинством отказался ратифицировать «европейское оборонительное сообщество», но вскоре французам поднесли новое блюдо—«парижские соглашения»: Федеративной Республике Германии предоставлялось право сформировать двенадцать дивизий и войти в Североатлантический военный блок НАТО.

На сессии Всемирного Совета видное место занимал вопрос об европейской безопасности. Бог ты мой, этот вопрос волнует европейцев и теперь! Говорят «безопасность», а думают об опасности. В 1954 году американские и английские политики пытались успокоить всех разговорами о том, что немецкий милитаризм якобы похоронен навсегда. Двенадцать лет спустя их ждал неприятный сюрприз: на выборах в некоторые региональные парламенты Западной Германии новая партия национал-демократов, вдоволь воинственная, набрала много голосов.

Я знаю, что многие люди в Западной Германии считают меня человеком с предвзятым мнением, слепо ненавидящим немцев. А мне ненавистен любой национализм: и немецкий, и французский, и русский, и еврейский.

Осенью 1966 года я был на праздновании столетия со дня рождения Ромена Роллана в прекрасном местечке Везеле. Там собрались люди из разных стран, говорили о гуманизме, о широте писателя.

В Везеле вдова писателя, Мария Павловна Кудашева, та самая Майя, с которой я подружился в Коктебеле почти полвека назад, устроила дом «Жан-Кристоф», в котором летом гостят и беседуют друг с другом разноязычные студенты Европы. Мария Павловна попросила меня поговорить с одним студентом из Западной Германии. Мы встретились на открытой веранде гостиницы. Студент был на вид милым, мечтательным немцем, с ним пришла студентка, похожая на классическую Гретхен, она молчала и только восторженно поглядывала на своего товарища. Немец мне объяснил, что изучает русский язык, а девушка английский. (Говорил он по-русски еще плохо, и мы беседовали по-французски.) Я спросил, что его прельстило в русском языке. Он ответил, что хочет пойти работать в министерство иностранных дел, как и студентка. Далее разговор перешел на общие темы: я заговорил о нацизме. Не только я, но все гости, пришедшие после конца очередного заседания, были потрясены немецким студентом: он не защищал зверства нацистов, он упорно отвечал, что противники Германии вели себя не лучше и что в Нюрнберге победители судили побежденных. Он отстаивал право Германии на ядерное вооружение, говорил, что только отсталые агрикольные страны вроде Швеции могут отказаться от водородных бомб. Он очень плохо знал недавнее прошлое своей страны, и дело было не в генах, не в крови, а просто в том, что ему не сделали антинационалистской прививки, которая могла бы его оградить, как прививка ограждает от эпидемии оспы. Беда не в том, что в федеральной республике существуют национал-демократы, а в том, что молодое поколение не защищено от их пропаганды.

Вернусь к осени 1954 года. Я выступил в сессии Всемирного Совета с речью: в те годы мы еще тратили много сил, убеждая убежденных. Речь я кончил словами: «Советский гражданин, русский писатель, человек, переживший две мировые войны, видевший пепел Реймса и Новгорода, европеец, любящий Европу, ей преданный, я хочу сказать всем европейцам: сбережем то прекрасное, что нам досталось...»

Мое выступление, видимо, понравилось, его поместили в «Правде», а несколько недель спустя мне позвонили и попросили участвовать в собрании, посвященном десятилетию франко-советского договора. Открыв дверь служебного входа в Колонный зал, я смутился: почему столько милиционеров? Меня попросили предъявить документ. Поднявшись наверх, я увидел в комнате, которая обычно служит буфетом, правительство, членов президиума. Что за диковина?

На эстраду пригласили посла Франции Жокса; он явно был смущен происходящим. Когда я говорил об Эдуарде Эррио, Жокс аплодировал вместе со всем залом, но не мог же он аплодировать моим размышлениям о том, что нельзя одновременно договариваться с пастухом и с волком.

Предупреждение Москвы не подействовало. Четвертая республика не могла похвастаться постоянством: 23 декабря Национальное собрание отклонило первый пункт парижских соглашений. Депутатов начали обрабатывать: одним говорили, что, ратифицировав соглашение, будет легче договориться с Москвой, другим — что нельзя рассориться с Америкой и Великобританией. Тридцатого декабря парламент одобрил соглашения.

1955 год начался грозно. Все гадали, что означает совещание НАТО, о котором Спаак сказал: «Военные требовали разрешения готовиться к атомной войне. Это разрешение им дано». В январе собрали бюро Всемирного Совета Мира. В порядке дня стояли два вопроса: угроза атомной войны и вооружение Западной Германии. Жолио-Кюри был встревожен, говорил, что американцы обезумели: «Термоядерное оружие угрожает жизни на нашей планете». Фадеев его умолял: «Смягчите прогноз». Жолио сердился. Обсуждали парижские соглашения. Я выступил все о том же — о судьбе нашей беспокойной Европы: «Не развяжет ли снова Германия мировую войну, третью и последнюю?» Фадеев сказал мне: «О «последней» не говорите. На это есть резоны...» Мы еще раз попробовали открыть кампанию по сбору подписей: не могли забыть успех Стокгольма. (Подписей собрали много, кажется, даже больше, чем под Стокгольмским обращением, но изменилось время, и впечатление было не то, что в 1950-м.)

Что будет через год, через месяц? Зима и весна были полными противоречий. Раскрывая утром газету, люди не знали, что в ней найдут: может быть, соглашение, а может быть, ультиматум. Да и природа дурила. Над оливами Италии бушевали снежные бури. Штормы топили корабли — то в Средиземном море, то возле берегов Японии. Многие французские города пострадали от наводнений. Весна была поздней, и заморозки в Америке обожгли плодовые сады. Май, что ни день, подносил сюрпризы. В десятую годовщину победы над Германией в зал Шайо, где заседал совет НАТО, вошел канцлер Аденауэр, и тотчас над зданием взвился флаг ФРГ. Советское правительство объявило договоры о взаимной помощи с Францией и Англией утратившими силу. В Варшаве собрались представители восьми социалистических государств и 14 мая подписали договор о совместной обороне. 15 мая в Вене был подписан договор о независимости и нейтралитете Австрии. Канцлер Рааб дал обед, на котором присутствовали Молотов, Макмиллан, Даллес и Пинэ.

Я был тогда в Вене — собралось бюро Всемирного Совета. Работали мы в роскошном дворце, превращенном в ресторан. В зимнем саду корчились лиловые и оранжевые орхидеи, а в салонах пылились кресла середины прошлого века. Мы поздравляли австрийцев. Все верили в успех предстоящей Ассамблеи мира. Май не походил на январь.

Венцы повели меня по садикам и подвалам, где было шумно, весело, люди пили легкое, но коварное вино, пели песни. Оккупанты начинали собираться домой, и венцы, поглядывая на роскошные гостиницы, еще занятые военными, улыбались: «Ничего, почистим...»

В том году я много ездил — то в Вену, то в Стокгольм, то в Хельсинки, то в Париж, то в Женеву. Как-то в Париже д'Астье сказал мне, что премьер-министр Эдгар Фор приглашает нас пообедать. Фор и его жена оказались веселыми, живыми собеседниками. Год спустя, приехав в Москву, они у меня ужинали, и мы считали себя старыми знакомыми. В Москве неожиданно в квартиру ворвались фотографы, сняли нас за столом. Фор смеялся: «Ваши репортеры могут потягаться с парижскими...» А обед в Париже я вспомнил по листку настольного календаря Фора. Я вдруг увидел: «11 часов — посол США, 1 час — Эренбург, 5 часов — Аденауэр». Я не выдержал и рассмеялся: Эренбург между американским послом и канцлером! Когда-то в гимназии, увидев товарища между двумя гимназистками, мы пели: «Барбос между двух роз».

23 июня в Хельсинки собралась Всемирная Ассамблея. Сторонники мира сделали все, чтобы привлечь широкие круги миролюбивых сил. Результаты были скромными: за нашим движением твердо укрепилась репутация коммунистического. Все же Эррио согласился числиться почетным председателем Ассамблеи, прислал своего представителя и приветствие — жалел, что болезнь не позволяет ему присутствовать на Ассамблее. Приехали французские депутаты Капитан, Валлон, Дюбю-Бридель, представители индийской партии Национальный конгресс.

Открыл Ассамблею Жолио-Кюри умной и сдержанной речью. Комиссии порой работали до утра — белые ночи позволяли забыть про время. Тон выступлений был миролюбивым, все старались понять друг друга. Лю Нинни дружески беседовал с американским священником, Сартр любезничал с финскими аграриями. Французы устроили встречу с алжирской делегацией.

Кажется, Ассамблея была последним Всемирным конгрессом, на котором наша маленькая Европа оказалась в центре внимания: все помнили, где начались две мировые войны. Я вспоминаю, что в моей речи больше всего аплодировали простым словам: «Мне хочется спросить делегатов европейских стран, неужели мы не можем договориться между собой, как договорились делегаты азиатских стран в Бандунге?» (События опровергли мою ссылку на Бандунг, но вопрос об общности Европы воскрес десять лет спустя.)

После того как Ассамблея проголосовала обращения и рекомендации, в университете состоялось заседание Всемирного Совета Мира. Выбрали президента Жолио-Кюри, выбрали и десять вице-президентов. Вдруг вместо имени Фадеева я услышал свое. Я растерялся, а потом огорчился. Фадеева уже оттеснили от руководства Союзом писателей. Теперь он не вице-президент, а член бюро. Полгода спустя его перевели из членов ЦК в кандидаты. Вечером Фадеев меня поздравил. Я начал оправдываться: «Александр Александрович, для меня это было неожиданностью!» Он засмеялся: «Для меня тоже, но я вам тоже ничего не сказал бы — в общем, это не ваше дело...»

Три недели спустя в Женеве собралось совещание руководителей четырех великих держав, участвовали в нем Эйзенхауэр, Даллес, Булганин, Хрущев, Молотов, Иден, Макмиллан, Эдгар Фор, Пинэ. Совещание продолжалось пять дней, ни по одному из поставленных вопросов не было достигнуто соглашения. Надежды народов были так велики, что нельзя было просто разъехаться по домам, и главы правительств объявили, что поручают министрам иностранных дел тщательно обсудить вопросы разоружения, европейской безопасности, контактов между Востоком и Западом. Каждый день кто-либо приглашал других на обед или на ужин; все говорили мирно, избегая неосторожного слова. Так родился «дух Женевы». Он был хорошим духом, но духу нужно тело, и вежливость не могла заменить соглашение хотя бы по одному второстепенному вопросу.

Министры иностранных дел собрались, они тоже угощали друг друга, тоже говорили учтиво, но уже полемизируя друг с другом. Заседали они три недели и ни о чем не договорились. Перепоручить дело было некому. «Дух Женевы» стал испаряться. Год спустя события в Венгрии все перечеркнули.

Но в августе 1955 года «дух» казался почти ощутимым. Созвали сессию Верховного Совета, посвященную Женевскому совещанию. Я член нашего парламента вот уже шестнадцать лет, но только один раз меня попросили выступить — о Женевском совещании. Конечно, тогда я видел будущее в розовом свете, но полемизировал я не с представителями Запада, а с неисправимыми пессимистами: «Мы тоже знаем пословицу об одной ласточке, которая не делает весны. Я не считаю ее чрезмерно мудрой. Конечно, одна ласточка не делает весны, но ведь ласточки прилетают весной, а не осенью, и если показалась одна ласточка, то за ней должны последовать и другие. Ласточки вообще не делают весны, весна делает ласточек». Я припомнил движение сторонников мира, Жолио-Кюри, недавнюю Всемирную Ассамблею. Дальше я говорил: «Не пора ли повсеместно покончить с привычками вводить в заблуждение, выдавать карикатуру за портрет, подменять наблюдения догадками, а эти догадки излагать как обвинения? Мне кажется, что журналисты и писатели всего мира должны стоять у еще не погасшего огня холодной войны с бочками воды, нежели с бочками керосина».

С тех пор прошло больше десяти лет, и ни один из поставленных в Женеве вопросов еще не разрешен. Мы пережили немало опасных кризисов. Однако «дух Женевы» не был призраком, что-то в мире изменилось, ослабевало взаимное недоверие, исчезал страх, и, как бы ни были резки дипломатические ноты или газетные статьи, люди перестали гадать, не упадет ли на них завтра или послезавтра водородная бомба. Да, если я и ошибался, то так ошибаться горько, но не стыдно — бочки керосина я больше не коснулся.

Публикация Ирины ЭРЕНБУРГ.

Продолжение следует.

НАШИ МЕРТВЫЕ НАС НЕ ОСТАВЯТ...

Существуют письма необыкновенные, короткие, как последний вздох,— это письма революционеров, павших в борьбе за пролетарскую революцию и победу Советской власти. Не исповеди, но завещания тем, кому оставалось жить, бороться и победить. От их имени, от имени всех, кто довел дело социальной борьбы до торжества, говорил В. И. Ленин 1 мая 1919 года в Москве на Лобном месте при открытии памятника С. Разину:

«Много жертв принесли в борьбе с капиталом русские революционеры. Гибли лучшие люди пролетариата и крестьянства, борцы за свободу...»

Не бессловесно гибли, успевали сказать, написать, передать на волю заветное. Не все из написанного перед казнью, расстрелом, перед последним решительным боем дошло до нас, потомков, не все сохранилось. Палачи боялись не только их, живых, но и слов правды, последнего «прости» гибнущих героев.

Почти тридцать лет жизни посвятил Владимир Кондратьев отысканию, сбору писем-документов, свидетельствующих о последних днях, минутах борцов за социализм, за наше сегодня. Книга «Письма славы и бессмертия» * — труд специалиста и патриота, одержимого идеей не дать забвению поглотить живое движение души, мысли человека, чью жизнь обрывали недруги жестоко и поспешно. Составитель справедливо напоминает в послесловии слова А. И. Герцена: «Письма — больше, чем воспоминанья, на них запеклась кровь событий, это само прошедшее — как оно было, задержанное и нетленное». Кровь событий, кровь жертв, причисленных к лику героев.

Звучат и поныне голоса Николая Баумана, Петра Шмидта, Степана Шаумяна, Сергея Лазо, Люсик Лисиновой, Виктора Кингисеппа, Виталия Баневура... Убит из-за угла, замучен, расстрелян, сожжен, замучен. Прежде чем добить, у Баневура вырезали сердце. За несколько дней до гибели Виталий писал: «Приходится довольно часто бывать в разных переделках. Вооружен винтовкой, револьвером, гранатами...» И — сердцем борца.

О чем пишет человек перед смертью? Прочтите. Потрясает открытость суждений, прямота, искренность, запал души... И нам, их далеким потомкам, бывает нелегко. Но так ли, как им? Мы в наших походах, нашей повседневности еще и потому чувствуем себя уверенно, что знаем: «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые...» Поэт прав, потому что есть живая связь поколений. Историческая память — опора. Герои уходят не в землю, не в тлен — в надежность фундамента. Каждое их слово разборчиво.

И человечно.

«Милый папа! Мне очень прискорбно слышать, что Вы до сих пор не можете или не желаете понять меня. Неужели Ваш долгий жизненный опыт не подсказывает Вам, что каждый человек должен идти собственным путем, что в жизни нет широкой протоптанной дороги для тех, кто способен мыслить и чувствовать?.. В действительности же тот несчастен, кто сбился со своей настоящей дороги или не мог найти ее вовсе, а счастлив тот, кто идет неуклонно, без страха и сомнения туда и прямо, куда указывают ему совесть и убеждения...

Нет, милый и дорогой папа! Постарайтесь вникнуть в мое сердце и Вы поймете, что иначе я не могу жить: мой путь давным-давно намечен, свернуть с него — значит убить свою совесть...

Целую...

Ваш сын Николай».

Это письмо Н. Э. Баумана.

Из письма ссыльного Василия Орлова, родина которого — Симбирск:

«Дорогой друг!

Не удивляйся чужому почерку, писать уже не могу — диктую.

Последние три месяца лежу в постели, почти не вставая. Очень ослаб, и сидеть за столом мне уже не по силам... Смерть я видел не один раз, но такой гнусной придумать трудно. Это досадно. Но факты остаются фактами.

На самочувствие я никак не могу пожаловаться. Насколько плоть немощна, настолько дух бодр...

То, что было зелеными ветками, стало сучьями, а отростки — корнями. И в моральном и в идейном отношениях я чувствую себя окрепшим. Отсюда известное спокойствие духа!»

Трудно жил рабочий железнодорожных мастерских в Омске Марк Никифоров. Вынужден был эмигрировать в Америку. В 1917 году вернулся в Россию, омытую кровью, и по заданию партии включился в бои против белогвардейцев и интервентов. Стал одним из организаторов омского подполья в 1919 году. Его выследила контрразведка белых, после пыток расстреляли.

«Товарищи!

Вчера, в 12 часов ночи, увели пять наших товарищей. Мы — еще трое мужчин и три женщины — остались. Сегодня и нас увезут. Подлые они трусы! Даже расстреливать всех вместе трусят. Выводят небольшими партиями.

Товарищи, мы погибаем с надеждой на победу. Они захлебнутся в нашей крови.

Никифоров».

Конец марта 1921 года. Телеграмма обдорских большевиков В. И. Ленину, переданная по радио в Тюмень:

«Секретно. Шифрограмма.

Москва. Кремль. Ленину.

Коммунисты тобольского севера, истекая кровью, шлют пламенный прощальный привет непобедимой РКП, дорогим товарищам и нашему вождю Ленину.

Погибая здесь, мы выполняем свой долг перед партией и Республикой, с твердой верой в конечное наше торжество.

Секретарь райкома РКП — Протасов.

Секретарь Тюменского губкома РКП — Аггеев».

Значение такой книги огромно, 200-тысячный тираж недостаточен.

Николай БЫКОВ

* «Письма славы и бессмертия», составитель В. А. Кондратьев. Издание четвертое, дополненное. М., Политиздат, 1987.

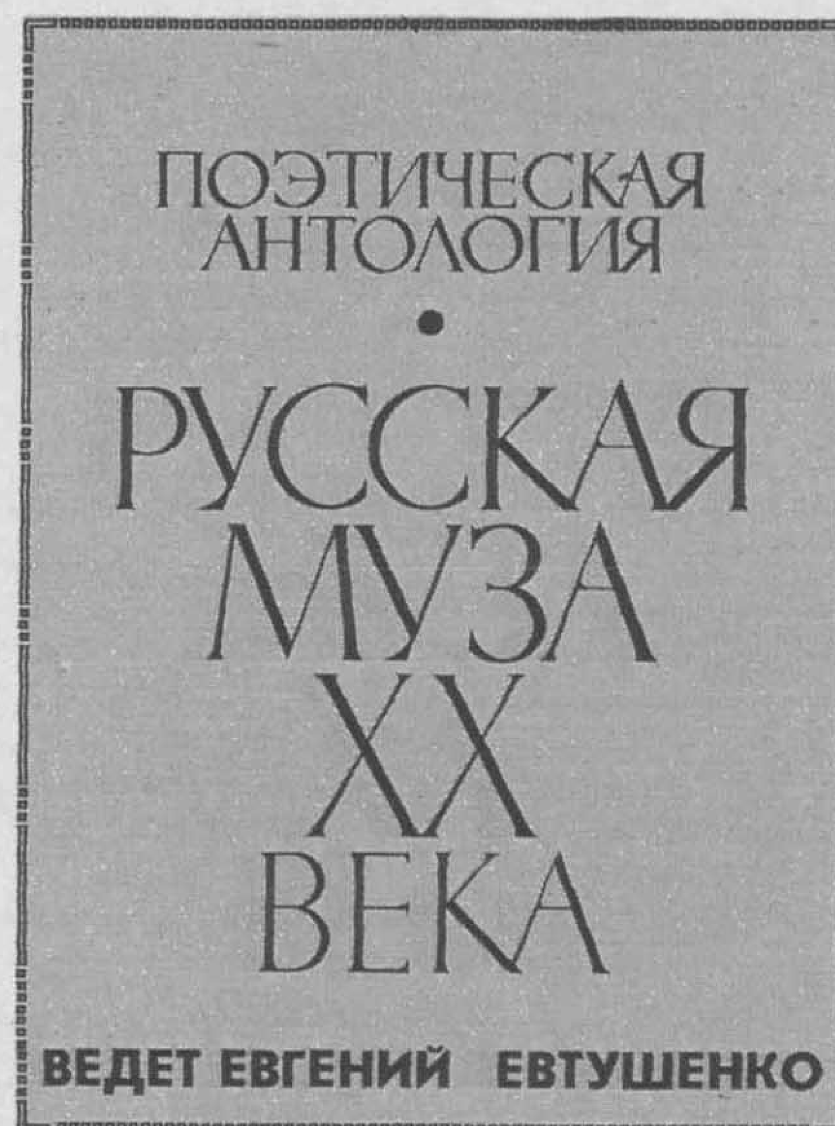
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН (1895—1925)

Может быть, самый русский поэт, ибо ничья другая поэзия не происходила из шелеста берез, из мягкого стука дождевых капель о соломенные крыши крестьянских изб, из ржания коней на затуманенных утренних лугах, из побрякивания колокольцев на шеях коров, из покачивания ромашек и васильков, из песен на околицах.

Стихи Есенина как будто не написаны пером, а выдышаны самой русской природой. Его стихи, рожденные фольклором, постепенно сами превратились в фольклор. Пришедший из рязанского села в петроградские литературные салоны, Есенин в салонного поэта не превратился и цилиндром, снятым с золотой головы после ночной пирушки, как будто ловил невидимых кузнечиков с полей своего крестьянского детства. Страшась исчезновения милого его сердцу патриархального уклада, Есенин называл себя «последним поэтом деревни».

Есенин воспевал революцию, но иногда, по собственному признанию, не понимая, «куда несет нас рок событий», опускался в трюм кабака на кренящемся от бурь корабле революции. Его поэзия порой была растерявшимся жеребенком перед огнедышащим паровозом индустриализации.

Есенина пронизывал страх стать «иностранцем» в своей собственной стране, но его опасения были напрасны.



●

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот — и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

Золотые далекие дали!
Все сжигает житейская мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной,—

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

(1923)

ПИСЬМО МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,—
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

(1924)

●

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Национальные корни его поэзии настолько глубоки, что они тянулись за ним за моря-океаны во время его странствий, не отпуская его, как родное блуждающее дерево. Не случайно он сам себя ощущал неотъемлемой частью русской природы — «как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова»,— а природу ощущал одним из воплощений себя самого, чувствуя себя то заледенелым кленом, то рыжим месяцем. Чувство родной земли перерастало у Есенина в чувство бескрайней звездной вселенной, которую он тоже очеловечивал, одомашнивал: «покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег». Есенин, может быть, самый русский поэт и потому, что, пожалуй, ни в ком другом не было такой беззащитной исповедальности, хотя она иногда и прикрывалась буйством. Все его чувства, мысли, метания пульсировали с такой очевидностью, как голубые жилки под кожей, настолько нежнейше прозрачной, что она казалась несуществующей. Человеком, который написал «и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове», мог быть только Есенин. Он был действительно «цветком неповторимым» нашей поэзии. Не будучи риторическим гражданским поэтом, он дал пример высочайшего личного мужества в «Черном человеке» и многих других стихах, когда он шлепнул на стол истории свое дымящееся сердце, содрогающееся в конвульсиях, настоящее живое сердце, не похожее на то, которое превращают в червовый козырной туз ловкие поэтические картежники. За эту исповедальность его и полюбил народ, и читатели Есенина, приходящие на его могилу, засыпанную цветами,— это и таксисты, и монтажницы, и ученые, и просто русские бабушки...

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

(1924)

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.

Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек,
Черный, черный!

«Слушай, слушай,—
Бормочет он мне,—
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.

Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою.

Счастье,— говорил он,—
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство».

«Черный человек!
Ты не смеешь этого!
Ты ведь не на службе
Живешь водолазовой.
Что мне до жизни
Скандального поэта.
Пожалуйста, другим
Читай и рассказывай».

Черный человек
Глядит на меня в упор.
И глаза покрываются
Голубой блевотой,—
Словно хочет сказать мне,
Что я жулик и вор,
Так бесстыдно и нагло
Обокравший кого-то.
. . . .

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Ночь морозная.
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.

Где-то плачет
Ночная зловещая птица.
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.
Вот опять этот черный
На кресло мое садится,
Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук.

«Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо,
Сам все ближе
И ближе клонится.—
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно еще
Напоенному дремой мирику?
Может, с толстыми ляжками
Тайно придет «она»,
И ты будешь читать
Свою дохлую томную лирику?

Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую,—
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...

И вот стал он взрослым,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».

«Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...
. . . .

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

(1925)

●

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки и слова,
Не грусти и не печаль бровей,—
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

(1925)

«ОГОНЕК» ВЫСТУПИЛ. ЧТО СДЕЛАНО!

ИГРА ПОКАЖЕТ...

Добрых пять месяцев потребовалось начальнику Управления футбола Госкомспорта СССР тов. Колоскову В. И., чтобы ответить на проблемно-критическую статью Л. Филатова «О лжефутболе», опубликованную в № 44 за прошлый год. Впрочем, она товарища Колоскова поначалу не убедила. И потому в № 4 «Огонек» опубликовал новый материал Филатова «Доброе имя футбола». Спустя два (плюс три) месяца улита приехала...

«Управление футбола и Федерация футбола СССР справедливо подверглись критике за нетвердость позиции в борьбе с так называемыми «договорными играми». В целях усиления этой борьбы приняты следующие меры: в рапорте судьи и судьи-инспектора введена специальная графа, где будет отражаться спортивность борьбы. Состав экспертной комиссии утвержден Госкомспортом СССР. В нее вошли Б. Т. Шумилин, Г. Д. Качалин, Л. Г. Лебедев, Л. И. Яшин, Н. П. Симонян, И. А. Нетто, Ю. А. Нырков, М. И. Якушин и другие. Если игра будет признана прошедшей с нарушением спортивных принципов, очки за нее начисляться не будут. Решение экспертной комиссии по этому вопросу будет окончательным.

Мы также озабочены повышением уровня судейства. Пока оно не поспевает за развитием игры. О повышении роли арбитров, улучшении их подготовки, более строгом контроле за проведением матчей шла речь на Всесоюзном совещании судей, которое состоялось в конце января 1987 года. Президиум Федерации футбола СССР пересмотрел списки судей, обслуживающих матчи высшей и первой лиг. Отводы, которые тренеры давали ряду арбитров, ныне не будут приниматься во внимание...

Федерация и Управление футбола Госкомспорта СССР принимают меры по усилению гласности в своей работе. Федерации футбола СССР с прошлого года поручено проведение чемпионата и Кубка СССР, что повысило ее роль в футбольной жизни страны. Заседания всех ее рабочих комиссий будут открыты для журналистов».

Быть может, в нынешнем сезоне меры, о которых сообщило письмо из Управления футбола, и в самом деле положат конец «договорам», повлияют на объективность судейства и т. д. Хотя немало ошибок арбитров, исказивших результат матчей, уже было.

Так что, полагает редакция, сушить перо товарищу Колоскову не следует. И мы с нетерпением ждем ответа на материал О. Петриченко «Не сотвори себе кумира», опубликованный в № 12 за 1987 год.

ОТ РЕДАКЦИИ

В последнее время ряд наших читателей спрашивает о том, как создавалась модель нынешней обложки журнала.

По-разному сформулированные, прозвучали эти вопросы и со стороны активистов общества «Память», и от Елены Лосото [«Комсомольская правда»].

Изменяя весь макет журнала, мы решили вынести на его обложку более крупно и традиционно начертанное название «Огонек» и анонсы главных материалов номера.

Выходные данные журнала, изображение ордена Ленина, которым «Огонек» награжден, перенесены на титульный лист, как это делается в абсолютном большинстве изданий — от журнала «Советский Союз» до «Науки и жизни».

Судя по читательским письмам, новая обложка пришлась по душе подавляющему большинству наших покупателей и подписчиков.

Патрик АНДЕРСОН

ЛЮБОВНИЦА президента

РОМАН

Адвокат Бен Нортон, возвратившись из Парижа, узнает, что любимая им Донна Хендрикс убита в Вашингтоне. Нортон дал себе слово раскрыть тайну гибели Донны. Бену неизвестно, что она приехала в Вашингтон по вызову президента Чарлза Уитмора, обеспокоенного тем, что Донна может рассказать в романе, который она пишет, об их интимных отношениях.
Вскоре Нортон выясняет, что после разрыва с Уитмором Донна уехала в Калифорнию; что убили ее в доме актера Джеффа Филдса, близкого к президенту; что перед этим ее видели в машине с помощником президента Эдом Мерфи. Но Мерфи все отрицает, и вслед за ним берут свои слова назад те, кто что-либо рассказывал о Донне.
Нортон начинает понимать, что это неспроста, особенно когда узнает, что Донна была беременна. Не веря в возможность вести расследование законным путем, Нортон отдает репортеру Гейбу Пинкусу ключи от помещения юридической фирмы «Коггинс, Копленд и Стоун».
Гейб похищает из кабинета Стоуна рукопись Донны Хендрикс.

Лафайет-сквер, солнечный майский полдень. Чиновники делятся завтраком с бесстрашными белками. Секретарши-негритянки на бетонных скамьях едят бутерброды с рыбой. Энди Джексон в вечном торжестве сидит верхом на коне, голуби целятся в него сверху, а туристы с японскими фотоаппаратами — снизу. Белый дом, безмятежно равнодушный, сверкает на другой стороне Пенсильвания-авеню. Нортон нашел пустую скамью, развернул первый выпуск «Стар» и стал искать сообщение об аресте Гейба. Вскоре к нему подсел стройный молодой человек, загорелый, без галстука, в дорогой спортивной куртке и широких темных очках. Нортон не сразу узнал его. Когда они виделись в последний раз, лицо его было не так изборождено заботой.

— Привет, Джефф, давно не виделись,— сказал Нортон. Ему показалось, что он сходит с ума, что Лафайет-сквер, люди и Белый дом — часть гигантской кинодекорации, и он единственный, кто не читал сценария.

— Послушай,— нетерпеливо сказал Джефф Филдс,— мне нужно многое сказать, а времени у меня мало.

— Для начала скажи, почему твой бандит треснул меня тогда по затылку?

— Таких инструкций он не получал,— сказал актер.— Вышла промашка. Я извиняюсь. Ты удовлетворен?

— Конечно,— сказал Нортон.— Все забыто. Что привело тебя в цитадель демократии?

— Подожди,— прошептал актер и кивнул на скамейку напротив. Седой старик в мятом костюме и галстуке с суповыми пятнами плюхнулся на нее и стал читать книгу в бумажной обложке под заглавием «Рассказы о могуществе».

— Пойдем отсюда,— сказал Филдс.

— Ты сам выбрал этот парк, приятель,— запротестовал Нортон, но актер уже поднялся. Нортон вздохнул и пошел за ним по гравийной дорожке, за статуей Энди Джексона они нашли свободную скамейку. Неприметный молодой негр в рубашке с коротким рукавом сидел неподалеку на траве. Едва увидев двух белых, он встал и ушел.

— Кругом либо охотники, либо дичь, Филдс,— сказал Нортон.— Даже белки снабжены микрофонами. Единственное спасение — бормотать под нос.

— Слушай, Бен, я много передумал с тех пор, как мы виделись в Палм-Спрингсе. Ты вел со мной честную игру, а я с тобой — нет. Теперь буду откровенен. То, что я скажу, может тебе и не понравиться, но это правда. Только прошу, пусть все будет между нами.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 14—21.

— Ничего не обещаю,— сказал Нортон.— Никаких обещаний тем, кто поручает швырять своих гостей в канавы.

— Я был с Донной ближе, чем говорил тебе,— сказал актер. Казалось, он так сосредоточился на своей роли, что не слушал Нортона.— Обо мне говорят, что я бабник. И, в общем, не зря. Почти все женщины, что мне встречались, ничего, кроме секса, не знают, ничем больше не интересуются и ничего больше не хотят. Но Донна была совсем другой. Познакомились мы с ней во время кампании — главная моя ошибка, что я пытался играть в эту игру. Сперва было забавно, но я оказался не в своей лиге. Уитмор просто использовал меня. В конце концов я это понял. Я был вроде обезьяны, которой привлекают толпу. И собрал немало зрителей. Но мне было одиноко. А потом я сблизился с Донной, она была единственным порядочным человеком в этом бродячем цирке. Я любил поговорить на политические темы, а она, в отличие от всех прочих женщин, разбиралась в политике не хуже меня. Даже лучше, черт возьми. Я привязался к этой цыпочке. После кампании, когда она уехала в Кармел, я несколько раз наведывался к ней. Она жила одиноко, мы недурно проводили время, и в конце концов я уговорил ее приехать ко мне в Палм-Спрингс. Послушай, все это я к тому, что у меня было намерение жениться на ней. А она отказалась наотрез. Спасибо, не надо. Я даже не поверил. Ты не представляешь, что выделывали некоторые цыпочки, стремясь выйти за меня. Адвокаты мои говорят, что если я не сделаю вазэктомию, то мне до восьмидесяти лет придется быть ответчиком в делах по установлению отцовства.

— Раз невтерпеж, берись за нож,— пробормотал Нортон.

— Слушай, прекратишь ты свои шутки? Пойми, что эту цыпочку я любил не меньше, чем ты.

— Тогда чего ж ты называешь ее цыпочкой? И почему бы не перейти к сути этой душераздирающей истории?

— Суть в том — тебе это может не понравиться, но я с тобой откровенен,— что если, как я слышал, она была беременна, то от меня. Вторую неделю января мы провели вместе. Она приезжала ко мне. Должно быть, тогда все и произошло.

Филдс умолк, его жилистое тело напряглось, изящно очерченные губы плотно сжались, знаменитые карие глаза сверкали за темными очками. Нортон подумал, что актеру невозможно играть в темных очках, потому что глаза выражают очень много эмоций.

— Зачем ты носишь очки, Джефф? Скрываешься от поклонников или от Старшего Брата?

— Это и все, что ты можешь сказать?

— А что бы ты хотел услышать?

— Ты не хочешь послушать дальше?

— А что может быть дальше?

— Слушай, мне понятны твои чувства, но я не знал, что она беременна. После той январской недели мне пришлось на три месяца уехать в Испанию. Возвратясь, я позвонил ей. Тогда она и спросила, можно ли ей пожить в моем вашингтонском доме. Я говорил тебе, что Донна не сказала, зачем едет сюда. Это вторая ложь. Она сказала, что хочет повидать знакомых и навести кое-какие справки для своей книги. Упоминала она и тебя. Она слышала, что ты должен вернуться из Парижа, и хотела устроить тебе сюрприз. Слушай, я знал, что какое-то время они с Уитмором тянулись друг к другу, и спросил, не влечет ли ее в Вашингтон и это. Она ответила, что та история здесь ни при чем, что все давно забыто.

На лбу у актера сверкали мелкие капельки пота, и, подумал Нортон, несколько капелек истины сверкало в том, что он сказал.

— Как тебе стало известно?

— О чем?

— Что Донна была беременна?

— Это разузнал мой адвокат. Как, не знаю. Я плачу ему большие деньги, чтобы он разузнавал всякую всячину.

Мимо них проходил косматый парень в комбинезоне, он нес гирлянду детских воздушных шаров.

— Почем они? — спросил Нортон.

— По доллару, братец,— сказал парень.

— Это грабеж, братец,— в тон ему ответил Нортон.

— Цены поднимаются вверх, дружище. Тонна резины сейчас стоит восемьдесят долларов.

— А они поднимаются?

— Что?

— Шары. Поднимаются они над этим жадным миром? Ну, летают?

— А, конечно. Так высоко, что не углядишь.

Нортон вручил парню потемневшие полдоллара с профилем Кеннеди, две монеты по двадцать пять центов и выбрал ярко-голубой шар. С минуту он забавлялся им, дергал за веревочку, заставляя плясать перед глазами, потом выпустил и стал смотреть, как шар поднимается над деревьями. Через несколько секунд ветер подхватил его и понес к Белому дому.

— Что это должно означать? — устало спросил Филдс.

— Проверяю локаторы Белого дома,— ответил Нортон.— Смотри, сейчас в небо взовьются десять «фантомов», и шарику конец. Слушай, почему ты не приехал ко мне на работу?

— Что?

— Почему ты не захотел приехать ко мне и рассказать это у меня в кабинете? Почему выбрал парк? Очень любишь белок?

— Не люблю юридические конторы,— ответил Филдс.— Я провел в них слишком много времени. Видеть их не могу.

«Это,— подумал Нортон,— самое разумное из того, что сказал актер».

Филдс достал из кармана платок с монограммой, снял очки и вытер лоб. Под глазами у него появились круги, а на лице морщинки, которых при прошлой встрече не было.

— Бен, последний месяц был у меня тяжелым. Но теперь я сказал тебе правду, и на душе стало легче. Делай, что хочешь, хоть убей меня, но это правда!

Нортон зевнул.

После долгой паузы актер спросил:

— Черт возьми, скажешь ты что-нибудь?

— Что тут говорить? Рассказ замечательный. Только я тебе не верю.

— Не веришь? — Филдс, казалось, совсем упал духом.

— Не обижайся.

— Слушай, я даю тебе слово...

— Вот что, Джефф, может быть, именно может быть, я поверил бы тебе, если бы ты выложил свою историю под дулом пистолета. Но я не верю данайцам, дары приносящим.

— Бен, право же, я не понимаю тебя. Я прилетел черт знает откуда, чтобы сказать тебе правду, а ты...

— Ладно, ладно, не начинай все сначала. Дальше дело мое. Пока, Джефф.

Нортон встал, потянулся и пошел прочь, но актер догнал его.

— Подумай, Бен, у тебя есть основания для подозрений, но подумай. Я не хочу, чтобы мы были врагами.

— Мы не враги,— сказал Нортон.— Ты мой любимый актер. И еще У. С. Филдс. Вы не родственники?

— Бен, я должен сказать тебе еще кое-что. Подожди минутку.

Нортон повернулся к актеру и увидел за его спиной статую редко вспоминаемого польского

патриота. «Вот что нужно Америке,— подумал он,— побольше польских патриотов. Где ты, Костюшко, теперь, когда мы нуждаемся в тебе?»

— Я приобрел киностудию,— сказал актер.— У нас закончено пять фильмов. На каждом надеемся заработать от двух до десяти миллионов. Денег у меня столько, что я подумываю основать какой-нибудь благотворительный фонд. Вот только мои адвокаты сводят меня с ума. Все они приспособленцы — алчные, мелкие реакционеры...

— Молодцы,— сказал Нортон.

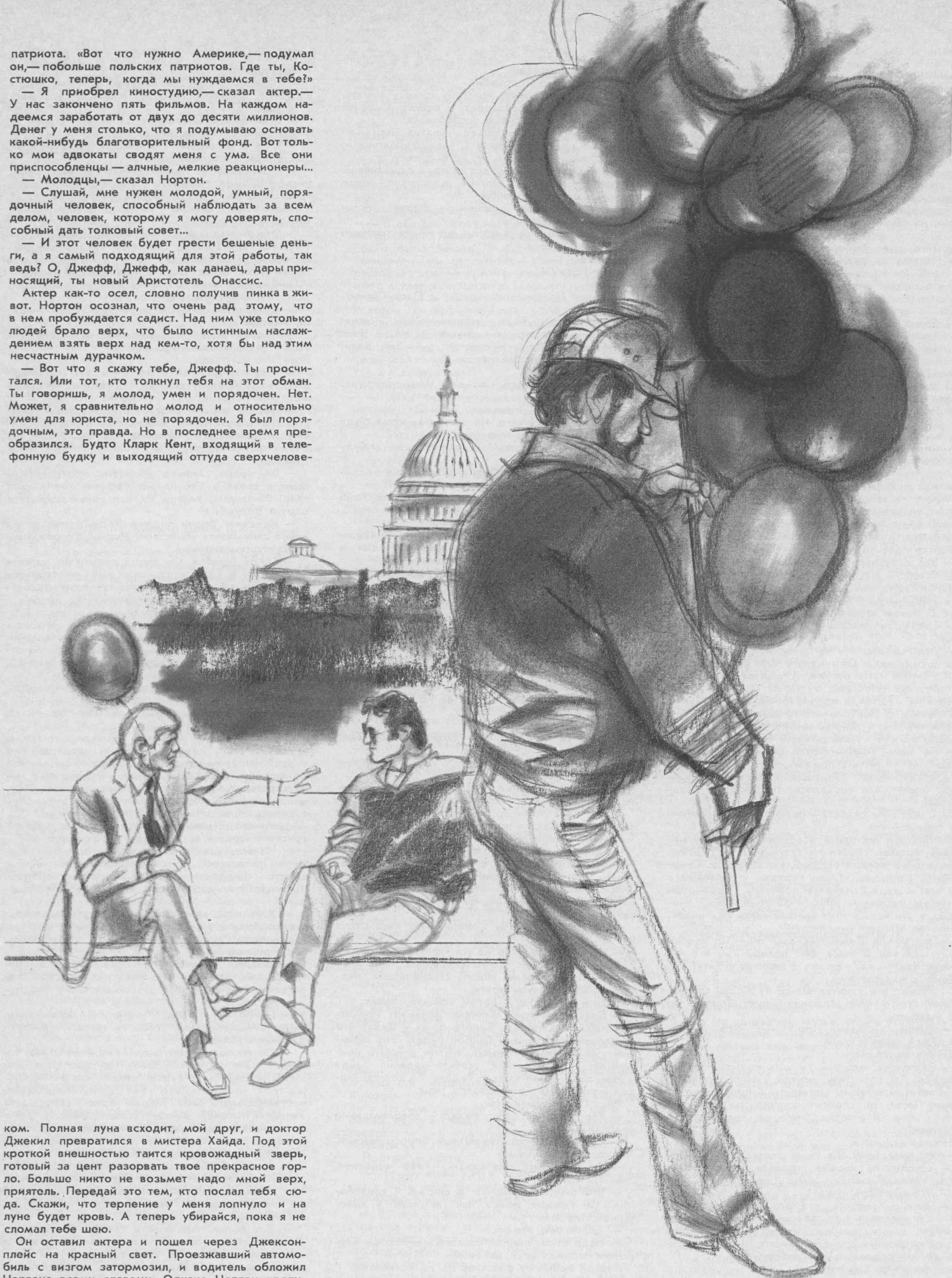
— Слушай, мне нужен молодой, умный, порядочный человек, способный наблюдать за всем делом, человек, которому я могу доверять, способный дать толковый совет...

— И этот человек будет грести бешеные деньги, а я самый подходящий для этой работы, так ведь? О, Джефф, Джефф, как данаец, дары приносящий, ты новый Аристотель Онассис.

Актер как-то осел, словно получив пинка в живот. Нортон осознал, что очень рад этому, что в нем пробуждается садист. Над ним уже столько людей брало верх, что было истинным наслаждением взять верх над кем-то, хотя бы над этим несчастным дурачком.

— Вот что я скажу тебе, Джефф. Ты просчитался. Или тот, кто толкнул тебя на этот обман. Ты говоришь, я молод, умен и порядочен. Нет. Может, я сравнительно молод и относительно умен для юриста, но не порядочен. Я был порядочным, это правда. Но в последнее время преобразился. Будто Кларк Кент, входящий в телефонную будку и выходящий оттуда сверхчеловеком. Полная луна всходит, мой друг, и доктор Джекил превратился в мистера Хайда. Под этой кроткой внешностью таится кровожадный зверь, готовый за цент разорвать твое прекрасное горло. Больше никто не возьмет надо мной верх, приятель. Передай это тем, кто послал тебя сюда. Скажи, что терпение у меня лопнуло и на луне будет кровь. А теперь убирайся, пока я не сломал тебе шею.

Он оставил актера и пошел через Джексонплейс на красный свет. Проезжавший автомобиль с визгом затормозил, и водитель обложил Нортона всеми словами. Однако Нортон пропустил их мимо ушей. Его пьянила вновь обретенная ярость, и впервые за долгое время он чувствовал себя прекрасно.



Рисунки Геннадия **НОВОЖИЛОВА**

21

К вечеру, когда Нортон вернулся домой, его разгоревшиеся страсти почти угасли. Он попал под внезапный ливень, не смог поймать такси и, насквозь мокрый, последние пять кварталов до дома шлепал по лужам. Лишь уже на крыльце он заметил, что в доме горит свет. Это могли быть либо Гейб, либо полиция. Ни та, ни другая перспектива Нортона не вдохновляла. Открыв дверь, он увидел лежавшего на диване Гейба, репортер то откусывал заусенцы, то потягивал нортоновское пиво. Одет он был в грязный костюм с жилетом, на лбу красовался багровый кровоподтек.

— Как ты вошел? — спросил Нортон и, сняв мокрый пиджак, бросил его в спальню.

— Поставь на двери приличные замки,— ответил Гейб,— а то какой-нибудь вор подгонит грузовик и очистит квартиру.

Нортон плюхнулся в кресло и стал снимать ботинки.

— Ладно, Гейб, что произошло вчера ночью?

— Включи радио,— прошептал репортер.— В доме могут быть микрофоны.

Нортон включил приемник, настроился на музыкальную программу, и в комнате зазвучал концерт Моцарта. Потом придвинулся с креслом поближе к Гейбу.

— Произошло то, бестолковый ты сукин сын, что я чуть не погиб из-за тебя,— сказал Гейб.— Там был какой-то молодчик с пистолетом.

— Черт возьми! Кто такой?

— Он не представился. Может быть, ты знаешь его?

— Как он выглядел?

— Рост пять футов восемь-девять дюймов. Вес сто пятьдесят фунтов. Волосы черные, коротко стриженный, справа пробор. Лет сорока пяти. Косоглазит, рожа какая-то самодовольная.

Нортон покачал головой.

— Это описание подходит ко многим.

— В одном из кабинетов горел свет. Должно быть, он сидел там.

— Гейб, когда я уходил, свет везде был погашен. О каком кабинете ты говоришь?

— Слева за поворотом, возле мужского туалета.

— Этот кабинет пустует. Там слышно, как в туалете шумит вода. Обычно его отводят новичкам.

— У этого типа резкий, гнусавый голос. Он говорит, как гангстеры в старых фильмах: «Ты у меня на мушке», и прочее в том же духе.

В памяти у Нортона что-то шевельнулось, но мысли его были заняты только тем, что у него мокрые ноги и нужно принять аспирин.

— Не знаю, Гейб,— сказал он.— Кого-то напоминает, но не могу вспомнить, кого.— Он нагнулся и стал снимать липнущие к ногам носки.— Гейб, значит, все сорвалось? Ты рисковал понапрасну?

— Я этого не сказал! — резко ответил Гейб.— Вот тебе кое-что.

Он полез в портфель и протянул Нортону рукопись. Нортон глянул на титульный лист, ахнул и торопливо открыл следующую страницу. Сверху было написано: «Глава первая», и начиналась она так: «Линда Хендерсон приехала в Вашингтон ветреным весенним днем 1968 года, хотя, очевидно, в это время туда никому ехать не стоило».

Нортон отложил рукопись.

— Это роман Донны,— сказал он.— Тот самый, что, по словам Филдса, был похищен из его кабинета. Как он мог попасть в кабинет к Уиту?

Гейб пожал плечами.

— Может, его похитил кто-то из людей Стоуна. Может, кто-то украл и продал Стоуну. Хорошо бы это выяснить.

— Выясню! — заявил Нортон.— С утра первым же делом зайду к нему.

Гейб вскинул руки.

— Бестолочь, можешь ты хоть раз пошевелить мозгами? Ты спросишь, откуда у него рукопись, он ответит, что кто-то неизвестный прислал ее по почте. Потом он спросит, откуда ты про нее знаешь. Что ты ответишь? Что ее похитил твой приятель?

Нортон вздохнул.

— Ты прав, Гейб. Я в таких делах новичок. Слушай, сегодня произошла странная история. Внезапно приехал повидать меня Джефф Филдс.

— Что ему было нужно?

— Пытался уверить, что это *он* приезжал к Донне в январе и она забеременела *от него*. И будто она сказала ему, что едет в Вашингтон повидать знакомых, а не Уитмора. И в довершение всего предложил мне работу.

— Что же ты ему ответил?

— Что не верю ни единому его слову.

— Идиот! — взорвался Гейб.— Я же говорил тебе, что нужно подыгрывать им.

— Извини, Гейб. Я привык говорить правду.

— Найди Филдса, извинись и скажи, что хочешь продолжить разговор.

— Он мне уже не поверит.

— Люди верят тому, чему им хочется верить. Скажи, что хочешь поговорить о работе. Судя по всему, работа тебе скоро потребуется.

— Мне бы надо уволиться,— сказал Нортон.— Я уже не могу работать у Стоуна. Уволиться и, может быть, выколотить из него правду.

— Держись пока там, дружище, и помалкивай.

Зазвонил телефон. Нортон подскочил, потом замер и взглянул на Гейба.

— Ответь,— сказал репортер.— Может, услышишь хорошие новости.

Нортон в этом сомневался, но после третьего звонка взял трубку.

— Алло?

— Бен? Это Пенни.

— Кто?

— Пенни. Помнишь вечеринку в Палм-Спрингсе?

Казалось, это было давным-давно. Нортон вспомнил миниатюрную девушку с лицом феи.

— Конечно, Пенни,— ответил он.— Как дела?

— Бен, у меня неприятности.

— Что случилось?

— Сейчас рассказать не могу. Мне нужно увидеться с тобой.

— Если хочешь, приезжай сейчас.

— Сейчас я в Чикаго. Но завтра вечером буду в Вашингтоне. Смогу я увидеть тебя?

— Конечно. Приезжай ко мне. В семь я буду дома. Адрес знаешь?

— Найду,— ответила Пенни, и в трубке послышались гудки.

Нортон положил трубку и заметил, что Гейб пристально глядит на него.

— Кто это? — спросил журналист.

— Девушка, с которой я познакомился в Палм-Спрингсе. Стюардесса. Она провела меня к Филдсу. Говорит, что у нее неприятности.

— Не только у нее,— сказал Гейб.— Слушай, вчера я нашел еще кое-что. Адресную книгу Стоуна. Там есть любопытные фамилии и телефонные номера.

— Например?

Гейб достал из кармана пиджака голубую адресную книгу.

— Некоторые фамилии мне знакомы, но есть и просто инициалы. Вот, например: «Г. 546-3646».

— Это номер Гвен Бауэрс. Ты ее знаешь.

— Да, но не знаю, почему ее номер оказался в книге у Стоуна.

— Постараюсь узнать.

— Узнавая, старайся быть похитрее. Вот еще: «Р. 456-7236».

— «456» — это Белый дом. А кто такой «Р.» — не представляю.

— Сегодня я звонил туда. Секретарша ответила: «Кабинет мистера Макнейра».

— Это Клэй Макнейр. Работает на Эда Мерфи. Недели две назад я познакомился с ним.

— Как он выглядит?

— Примерно моего возраста. Высокий, симпатичный. Носит костюмы в тонкую полоску и запонки. Типичный младший служащий. Я познакомился с ним, когда стал наводить справки о Донне. Эд поручил ему следить за ходом расследования.

— Может, он заодно информирует Уита Стоуна?

— Вряд ли. Макнейр не тот человек, которому Эд Мерфи доверит что-то серьезное. Типичный американский парень. Носит студенческий перстень и жует «джуси фрут».

Нортон нахмурился, потом вскинул голову.

— Постой, постой! Макнейр занимает крохотный кабинет в цоколе Белого дома и делит его с человеком по имени Байрон Риддл. Это странный тип. Макнейр говорит, что он какой-то консультант, выполняющий особые задания. Зайдя к Макнейру, я сел за стол Риддла, он вошел, увидел меня и чуть не взорвался. Псих.

Лицо Гейба оживилось.

— Как выглядит этот Риддл? — требовательно спросил он.

— Среднего роста. Худощавый. Волосы темные. Лет сорока с лишним.

— Должно быть, тот самый.— Гейб вздохнул.

— Тот самый?

— Что был вчера ночью в фирме. С пистолетом. Он говорит резко, как гангстеры в кино? Одной стороной рта?

— Да! Значит, это он.

— Надо будет поинтересоваться мистером Байроном Риддлом,— сказал Гейб.

Нортон принялся расхаживать по гостиной.

— Слушай, я кое-что вспомнил. С неделю назад я был на вечеринке у Гвен Бауэрс. Там все набрались, я тоже, и в конце концов вышел на воздух, смотрю — в кустах прячется какой-то тип. Я погнался за ним, но он удрал. Наверно, это был Риддл.

— Наверно, он,— сказал Гейб.— Нужно будет взглянуть на этого Риддла. Покажешь его мне.

— Как?

— Если будем наблюдать за Белым домом, в конце концов увидим, как он входит или выходит.

— *Если* он войдет или выйдет. Макнейр сказал, что он часто разъезжает.

— Например, в Палм-Спрингс, украсть рукопись? В Кармел, столкнуть с обрыва старика сенатора? Похоже, у этого Риддла много разъездов.

Нортон сел в кресло и хмуро уставился на свои босые ноги.

— Это уже слишком, Гейб,— пробормотал он.— Неужели ты и вправду считаешь, что человек, работающий в Белом доме, в *уитморовском* Белом доме, может быть взломщиком и убийцей?

Гейб рассмеялся и провел рукой по волосам, осыпав плечи перхотью.

— Друг мой, об этом и речь. В каком мире ты живешь?

— Ладно, ладно, допускаю. Все возможно. Но если так, наверно, пора сообщить властям обо всем, что мы знаем.

— *Каким* властям? Чаку Уитмору? Эду Мерфи? Этому болвану министру юстиции? Или, может, Уиту Стоуну, раз он сменит его?

— Нет, не им. Но ведется расследование убийства Донны, у Стоуна оказалась ее рукопись, значит, он здесь как-то замешан. Сообщим все, что знаем, в прокуратуру, и пусть они действуют дальше.

— Во-первых, нельзя доказать, что рукопись была в столе у Стоуна, не поставив меня под удар. Во-вторых, знаешь ты, кто новый прокурор округа Колумбия?

— Конечно. Фрэнк Кифнер. Только вряд ли он лично занимается убийством Донны. Скорее, кто-то из его помощников.

— Опять ошибка. Он лично руководит расследованием. И, как я слышал, ему не терпится предъявить обвинение. Только тут одна маленькая загвоздка: не на кого навесить это дело.

— А тот парень? Ненормальный?

— Никаких улик. Да и все равно, вряд ли удастся его засудить. Они фабрикуют обвинение, он ссылается на психическое заболевание, и его отправляют в лечебницу, где ему и без того место. Все довольны.

— Я не думаю, что Фрэнк на такое способен.

— Ты его знаешь? — спросил Гейб.

— Познакомились в Капитолии лет пять назад. Он помоложе меня.

— Верно. Самый молодой прокурор в стране. И хочет стать самым молодым федеральным судьей или самым молодым помощником министра юстиции, если Уит Стоун станет во главе министерства. И вот еще что. В адресной книге Стоуна телефонный номер Кифнера, не внесенный в справочники, обозначен буквой «Ф».

— Ничего странного, что у крупного вашингтонского юриста есть телефон прокурора.

— Ничего, однако все фамилии в книге записаны полностью, только вместо «Гвен» — «Г.», вместо «Риддл» — «Р.» и «Ф.» — вместо Фрэнк Кифнер. Прокурор находится в избранном обществе.

— Я неплохо знаю Фрэнка и могу доверительно поговорить с ним. Не упоминая ни о тебе, ни о рукописи. Просто расскажу о том, что происходят странные вещи.

— Кифнер проведет тебя. Ты только выболтаешь ему все, что нам известно, а потом все остальные двери будут захлопываться у нас перед носом.

— По-моему, Кифнер честен. И, несомненно, умен. Слишком умен, чтобы не шутить с расследованием убийства.

— О господи,— застонал Гейб,— понятно, почему южане проиграли войну. Неужели ты не можешь понять своей тупой башкой, что всем, кроме тебя, наплевать, кто убил Донну? Уитмор хочет выгородить себя. Мерфи хочет выгородить Уитмора. Кифнер мечтает угодить Белому дому и получить повышение. Сержант, ведущий расследование, стремится в начальники полиции. Так все и идет. Каждый думает только о себе.

— А ты, Гейб? — раздраженно спросил Нортон.— Тебя волнует то, что случилось с Донной? Или только хочешь найти святой Грааль, который ты именуешь «досье Гувера»?

Гейб усмехнулся.

— Вот теперь ты попал в точку,— сказал он.— Само собой, я помогаю тебе, потому что ты можешь помочь мне. Так устроен мир. Но ты никому не сможешь помочь, если не начнешь работать головой. Слушай, позвони Джеффу Филдсу, скажи, что хочешь снова поговорить с ним. Поговори с Гвен Бауэрс, узнай, что сможешь, о Стоуне. И найди предлог наведаться к Макнейру.

Если он сидит в одном кабинете с Риддлом, то должен что-то знать о нем.

Гейб поднялся и стряхнул с плеч перхоть.

— Мне надо идти,— сказал он.— Слушай, ты по-прежнему со мной? Игра становится серьезной. Вчера на меня был наведен не детский пистолет.

Нортон принялся снимать галстук. Мокрая рубашка липла к его спине.

— С тобой, Гейб. Хотел бы я знать, к чему нас все это приведет.

— Я скажу тебе, к чему,— ответил Гейб.— В ближайшее время мы расколем этот орешек. Посмотри!

Он протянул руки, Нортон посмотрел на них и не увидел ничего примечательного, кроме грязных ногтей.

— Смотри,— сказал Гейб и указал на запястья.— Видишь? Пятна!

Нортон пригляделся и увидел на запястье Гейба несколько бледно-розовых пятен.

— Так всегда,— сказал Гейб.— Когда я приближаюсь к раскрытию загадки, появляются пятна. Потом, когда уже совсем близок, весь покрываюсь сыпью. Это у меня шестое чувство.

Нортон молчал.

— Так что не волнуйся, дружище,— сказал Гейб.— Мы разоблачим этих гадов. Пригвоздим к позорному столбу.

Подмигнув, он дружески ткнул Нортона кулаком в плечо и выскользнул из комнаты.

Нортон облегченно вздохнул, запер дверь, выключил приемник и пошел в ванную принять витамин С. Он легко простужался и чувствовал, что болезнь начинается.

22

Нортон открыл дверь, и Пенни бросилась к нему в объятия.

— Осторожно,— сказал он,— я простужен.

— Ну и пусть,— ответила Пенни, поцеловала его и заплакала, уткнувшись ему в кашемировый свитер.

— Проходи в комнату,— сказал Нортон.— Ты ела? Могу изжарить яичницу.

— Спасибо, не надо,— угрюмо отказалась Пенни.— Что-то аппетита нет.

— Может, горячего пунша? Эту неделю я живу на пунше и таблетках.

— Разве что кока-колы. Я уже попала в такой переплет, что боюсь и пить, и курить, и переходить улицу не там, где положено.

Пенни попыталась улыбнуться, но лицо ее скривилось, и она заплакала снова.

Нортон принес кока-колу и сел на диван рядом с ней.

— Ну, рассказывай, в чем беда.

— Я даже н е з н а ю, в чем,— всхлипнула Пенни.— Познакомилась в самолете с этим типом, а потом вдруг фараоны пристали с расспросами, грозили судом, тюрьмой, я прямо с ума схожу.

Она выпалила все залпом, и это встревожило Нортона.

— Не спеши, Пенни. Начни сначала.

Она полезла в сумочку и достала сигарету. Когда прикуривала, рука ее дрожала.

— В и д и м о, это началось в самолете,— сказала она.— На маршруте Лос-Анжелес — Вашингтон. Я работала в салоне первого класса и разговорилась с очень странным типом. Все расписывал, что за выдающаяся он личность, всякие там приключения. В конце концов я сказала, что не верю ему, тут он вскинулся и показал мне пропуск в Белый дом со своей фотографией, так что, похоже, то был не просто треп.

— Он представился тебе?

— С к а з а л, что его зовут Уэнделл Бэкстер, но, показывая пропуск, закрыл фамилию рукой. А на запонках у него буква «Р». Так что делай вывод сам.

Нортон даже не удивился. Он начал склоняться к мысли, что Гейб прав: весь мир представляет собой один сплошной заговор.

— Пенни, ему лет сорок пять, худощавый, короткие темные волосы и диковатый взгляд?

Глаза у нее округлились, как блюдца.

— Откуда ты знаешь?

— Это долгая история. Расскажи подробнее, о чем он говорил.

— Послушать его — прямо какой-то международный шпион. Много говорил о пистолетах. Сказал, что у него есть пистолет, стреляющий за угол, но это, конечно, была шутка. Рассказывал о частных клубах в Лондоне, где играл в карты, сказал, что лично знаком с иранским шахом, сыпал фамилиями киноактеров. Видимо, так разговор у нас перешел на Джеффа.

— Филдса?

— Да. Я сдуру и ляпнула, что бывала у Джеффа на вечеринках, а он уцепился за это. Стал расспрашивать о Джеффе, что там за вечеринки у него, потом я ушла от этой темы, и он снова принялся за свои подвиги.

— Он не сказал, почему у него пропуск в Белый дом?

— Говорил что-то о специальных заданиях. Звучало это так, будто о н делает и м одолжение. Мнения об Уитморе он не очень высокого. Говорил о политике, о том, что стране нужно новое руководство и «конституционные принципы», не могу взять в толк, что это значит. Слушать его было дико. То есть он нес сплошную чушь, но я не могла отвести от него глаз. Прямо гипнотизер.

Она отпила кока-колы.

— В общем, когда мы приземлились в Далласе, он пригласил меня пообедать; делать мне все равно было нечего, я согласилась; прилетев в Вашингтон, мы отправились в какой-то арабский ресторан; короче говоря, я напилась, он привез меня в какую-то грязную квартиру на Капитолийском холме и вместо того, чтобы тискать меня, к этому по крайней мере я была готова, стал расспрашивать о Джеффе, принимают ли у него на вечеринках наркотики. Я выложила ему все, что знаю, лишь бы он отстал. Потом он среди ночи вызвал такси и отвез меня в дом своего друга, где я и заночевала.

— Пенни, сможешь ты найти этот дом?

— Вряд ли. Сам знаешь, все дома на холме похожи. Наверно, узнала бы, если б оказалась рядом.

— Завтра нужно будет погулять по холму, может, найдем. Согласна?

— Конечно, Бен.

— Ну и что было дальше?

— Примерно с неделю ничего. Потом как-то утром я готовлюсь к вылету, тут двое типов отзывают меня, показывают серебряные значки, говорят, что они агенты бюро по борьбе с наркотиками, грозят мне неприятностями и хотят задать несколько вопросов. Я им: «Что вы, ребята, я ничего не знаю. Мне нужно на самолет поспеть». Тогда они говорят, что если хочу, они могут договориться с моим начальником — вежливо так, будто делают мне одолжение, но при мысли, что они явятся к начальнику, меня в дрожь бросило.

— Они знали это заранее.

— Должно быть. Ну, я спросила, что они хотят узнать, тут пошли расспросы о наркотиках, употребляю ли я их, знаю ли кого, кто употребляет. Смех да и только. Я говорю: «Слушайте, ребята, о чем тут говорить, все покуривают травку, все нюхают порошок счастья». Честное слово, Бен, почти все стюардессы, кого я знаю, курят или нюхают перед полетом, только тогда они способны улыбаться щипкам тех болванов, которых должны обслуживать. Но эти типы не отставали и вскоре перешли к Джеффу Филдсу: кто употребляет наркотики у него на вечеринках, откуда наркотики берутся и все такое, и в конце концов я заявила им, что ничего больше не скажу.

Пенни умолкла и допила кока-колу. Нортон чихнул и высморкался.

— Выпей пунша,— сказала Пенни.— Может, я тоже выпью.

— Хорошая мысль,— сказал Нортон. Он пошел на кухню, вскипятил воды, налил в кофейные чашки по стаканчику виски, долил их кипятком, добавил меду и по два мускатных орешка.

Пенни пригубила напиток и усмехнулась.

— Это г о д и т с я,— сказала она.— Если б я только выпивала, то не влипла бы в такую передрягу. А может, и влипла бы, при моей-то невезучести.

— Пенни, говорили эти люди, что ты не обязана отвечать на их вопросы? Что ты можешь вызвать адвоката? Что все сказанное тобой может быть обращено против тебя?

— В общем-то нет. То есть один заикнулся, что отвечать я н е о б я з а н а, тут вмешался другой и сказал, что мне лучше не отмалчиваться, потому что положение мое и без того скверное. Я совсем растерялась. Один завел речь, как ужасно в тюрьме девушке вроде меня, я даже ударилась было в слезы, а другой так, по-хорошему, говорил, что им нужна от меня только правда, а правдой нельзя причинить зло.

Нортон застонал.

— Пенни, пожалуйста, если полицейский спросит у тебя хотя бы который час, отвечай: «Обращайтесь к моему адвокату».

— Конечно, нужно было позвонить тебе,— сказала она.— Но я улетела в Лос-Анжелес, пробыла там несколько дней и успокоилась. Думала, что все позади. А когда вернулась в Вашингтон, оба эти типа ждали меня, теперь они сказали, что меня хочет видеть прокурор. У меня даже челюсть отвисла. Тут я хотела вызвать тебя, но они уже поговорили с моим инспектором, и тот сказал, что если я не буду содействовать им, то останусь без работы. А работа, как ты знаешь, в наши дни на дороге не валяется, и многим девушкам приходится туго; я поняла, что лучше всего будет пойти к прокурору. И пошла.

— К Фрэнку Кифнеру?

— Ты знаешь его?

— Знаю,— ответил Нортон.— Что он сказал?

— Вначале мягко, по-хорошему, говорил, что я правильно поступила, приехав к нему, что нужно только прояснить несколько деталей, а потом у нас опять началась игра в Двадцать Вопросов. Главным образом о Джеффе и кокаине. Он спрашивал, употребляю ли я кокаин. «Только для чистки зубов»,— ответила я, но он даже не улыбнулся. Спрашивал, нюхают ли кокаин на вечеринках у Джеффа. Я сказала, что да. А сам Джефф? Да. Но они старались вытянуть из меня, что это кокаин Джеффа, что он торгует им. Я сказала, что этого не знаю, и тут они заговорили о большом жюри. Я опять ударилась в слезы; в конце концов они меня отпустили, но сказали, что, может, я потребуюсь снова. Несколько дней назад они позвонили, сказали, что Кифнер опять хочет меня видеть. После этого я и позвонила тебе. Я больше не могу встречаться с этим человеком, Бен, у него такой холодный взгляд.

— Господи, как жаль, что ты не позвонила мне раньше!

— Извини,— сказала Пенни.— Я такая дура.

— Нет, ты просто средний человек, которого любой полуграмотный полицейский, тем более такой юрист, как Кифнер, может сбить с толку.

— Мои дела очень плохи?

— Не думаю. Мне кажется, их интересуешь не ты. По-моему, они стряпали дело для нажима на Филдса, вынуждая его тем самым оказать им небольшую любезность, поэтому и вымогали у тебя и, видимо, кое у кого еще соответствующие показания. Это именуется «обработка». Давят на маленьких людей, чтобы добраться до больших.

— Я не понимаю,— сказала Пенни.— Чего им нужно от Джеффа?

— Кто его знает,— ответил Нортон, хотя был почти уверен, что делом о кокаине Филдса принудили сказать, будто Донна забеременела от него.

— С какой же стати вызывать меня снова?

— Не знаю. Видимо, хотят, чтобы это выглядело законным расследованием, а не дешевым политическим нажимом.

Пенни в замешательстве захлопала глазами.

— Судя по твоим словам, это ш а н т а ж! — сказала она.— Правительство стращает законом, как преступники оружием. Неужели такое возможно?

— Такое делается сплошь и рядом,— ответил Нортон.— А законы о наркотиках облегчают эту задачу. Запомни, Пенни, всякий раз, когда куришь марихуану, тем более нюхаешь кокаин, ты отдаешься на милость властей. А милости у них не так уж много.

Пенни содрогнулась и закрыла лицо руками.

— Уже поздно,— сказал ей Нортон.— Ты где остановилась?

Она посмотрела на него и попыталась улыбнуться.

— Нигде. Если у тебя есть комната, останусь здесь.

Нортон покачал головой.

— Так не пойдет, Пенни.

— Мы можем н и ч е г о не делать,— сказала она.

Нортон почувствовал себя неловко.

— Видишь ли, Пенни, после той нашей встречи я... ну...

— У тебя появилась женщина,— сказала она.

— В общем, да. Все произошло внезапно, однако же...

Пенни усмехнулась.

— Но ей не понравится, если я останусь у тебя.

— Ты верно заметила,— сказал Нортон.— Слушай, можешь заночевать у нее. Живет она в Фогги Ботом, неподалеку от Кеннеди-центра, у нее есть свободная спальня. Дело в том, что я буду говорить о тебе с Кифнером, и нужно, чтобы ты до этого не говорила н и с к е м.

— Как ее зовут?

— Энни,— сказал Нортон.

— Энни,— угрюмо повторила она.— Наверно, умная, не такая дура, как я.

И, уткнувшись в спинку кресла, заплакала.

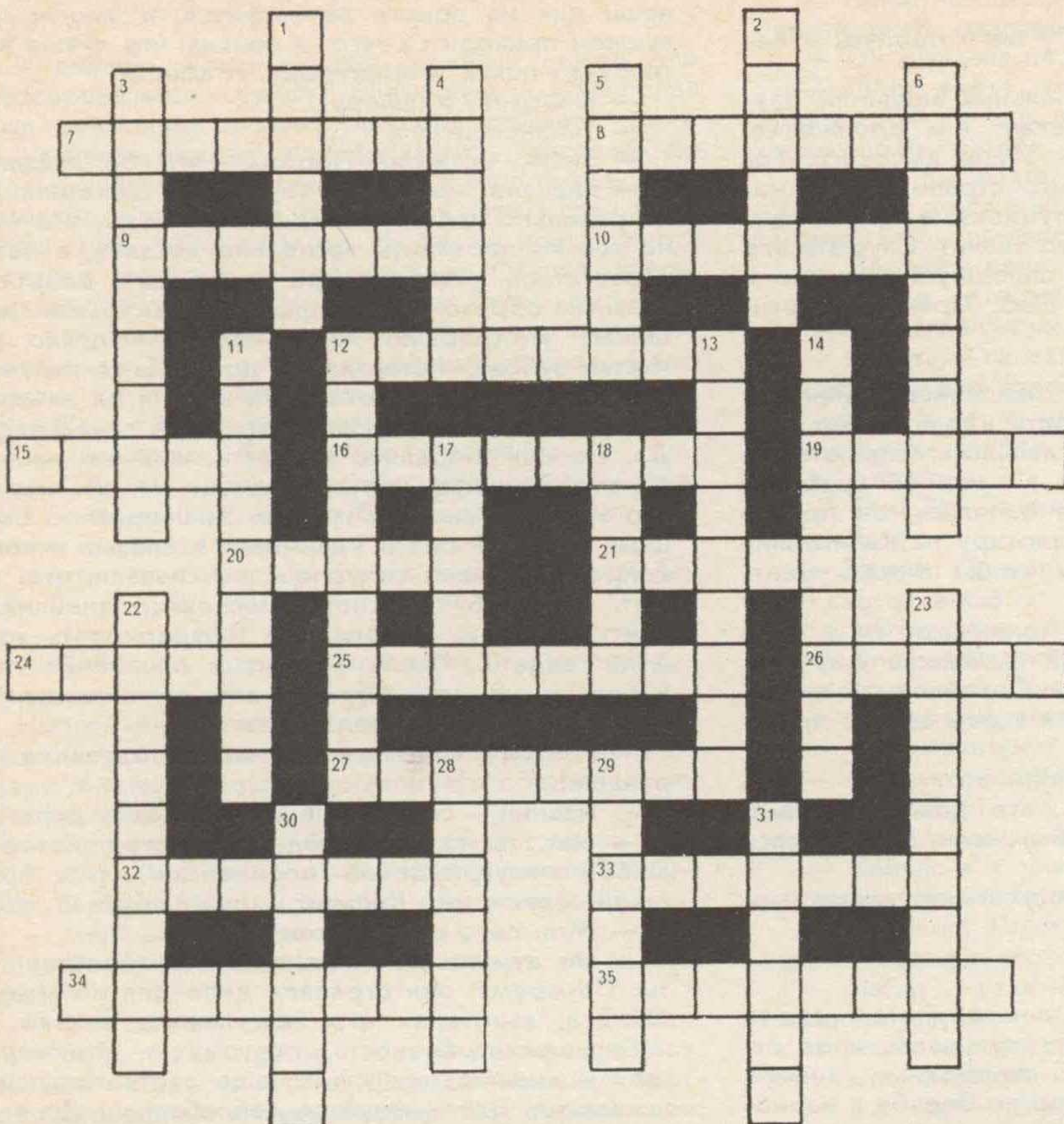
Нортон тронул ее за плечо.

— Пенни, ты ошибаешься. У вас с Энни много общего. Вы обе правдивые. Обе хорошие. И отлично поладите. Мы все трое будем друзьями. Будем помогать друг другу. Идет?

Она повернулась к Нортону, замигала, потом крепко обняла. Он подержал ее в объятиях, потом подошел к телефону и позвонил Энни. Та выслушала и сказала, что, если Пенни через десять минут не будет у нее, она свернет ему шею.

Перевел с английского Д. ВОЗНЯКЕВИЧ.

Продолжение следует.



КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Прославленный пограничник, Герой Советского Союза. 8. Народный артист СССР, руководитель Центрального театра кукол. 9. Биогенный химический элемент. 10. Подразделение пограничных войск. 12. Советский журнал для детей. 15. Многолезвийный режущий инструмент. 16. Русский поэт, демократ. 19. Лиственное дерево. 20. Сияние вокруг источника света. 21. Река в СССР, впадающая в Балтийское море. 24. Приморский детский курорт в Краснодарском крае. 25. Воинское звание. 26. Химический элемент, полупроводник. 27. Город в ФРГ. 32. Стрелковое оружие. 33. Устройство для безопасного спуска с высоты. 34. Герметическое снаряжение водолаза, космонавта. 35. Персонаж романа А. А. Фадеева «Разгром».

По вертикали: 1. Советский космонавт. 2. Канат, веревка для управления парусами. 3. Подразделение вуза. 4. Писатель, один из основоположников детской советской литературы. 5. Здание на железнодорожной станции. 6. Русский изобретатель в области воздухоплавания. 11. Гора на Среднем Урале. 12. Выдающийся русский химик. 13. Драгоценный камень. 14. Отношение массы вещества к его объему. 17. Приток Витима. 18. Стихотворная форма. 22. Русский струнный инструмент. 23. Поэма С. Сейфуллина. 28. Планета. 29. Болотная птица. 30. Жанр камерной вокальной музыки. 31. Диаметр канала ствола огнестрельного оружия.

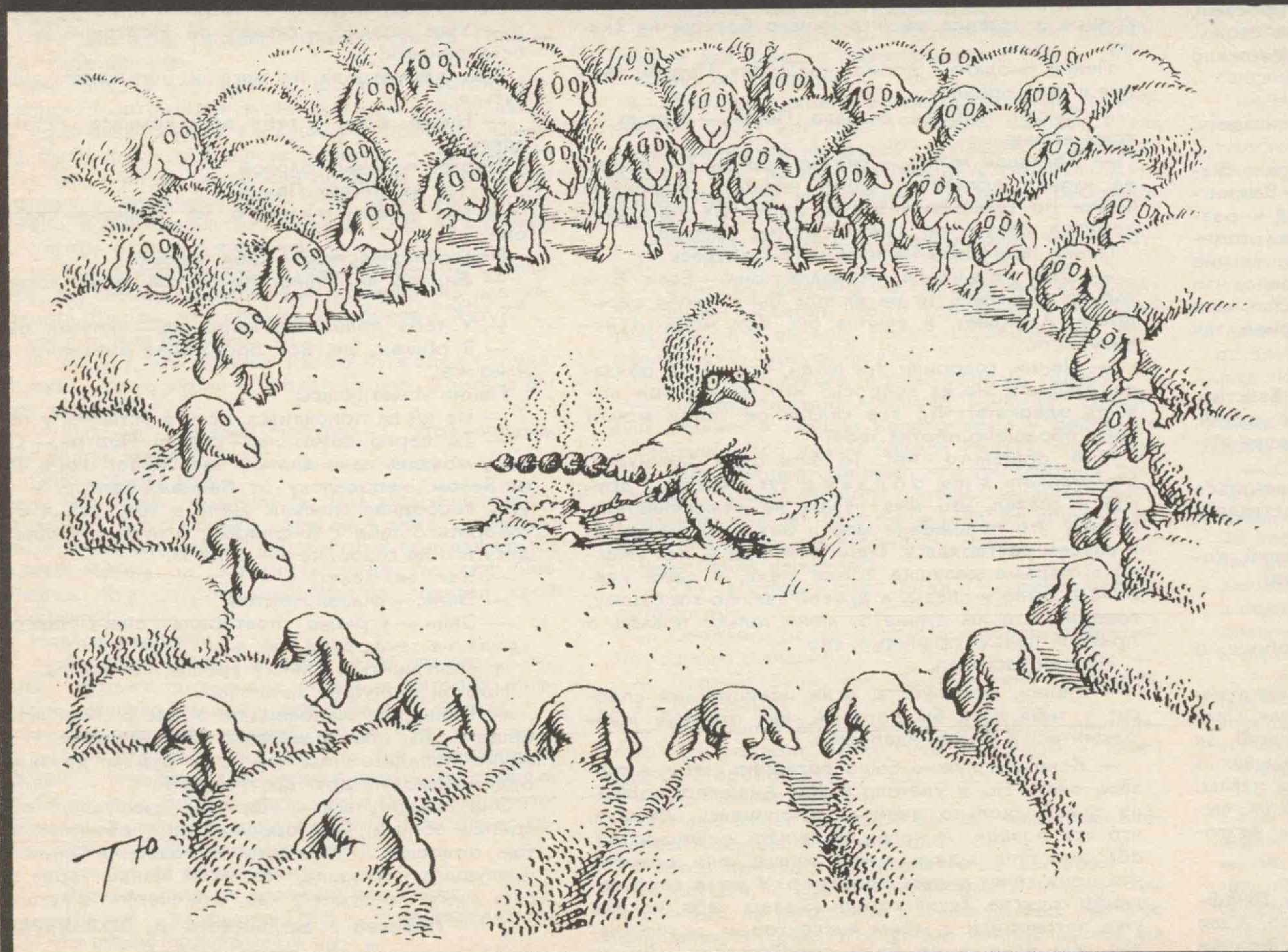
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 21

По горизонтали: 6. Копер. 9. «Товарищи». 10. Ильменит. 11. Просо. 12. Лубок. 16. Ньяса. 17. Моделирование. 18. Секста. 20. Шуберт. 21. Лингис. 22. Крокус. 25. Азербайджанка. 28. Штамм. 29. Ареал. 30. «Квант». 32. Предание. 33. Аникушин. 34. Тукай.

По вертикали: 1. Скип. 2. Ипподром. 3. Трио. 4. Годун. 5. Радом. 7. Менье. 8. Липси. 13. Коллективизм. 14. Хельсингборг. 15. Параболограф. 16. Никарагуанка. 19. Атос. 20. Шпак. 23. Байдарка. 24. Старт. 25. Амаду. 26. Аргус. 27. Ванин. 30. Кеть. 31. Тайм.

НЕТ ПРОБЛЕМ?

Рисунок Сергея ТЮНИНА



МУЗ

«Все совдепы не сдвинут армий,
Если марш не дадут музыканты»

В. Маяковский

В этом году в столицу отметить День Победы вместе с ветеранами и москвичами приехали духовые оркестры со всей страны, приехали и иностранные гости, чтобы принять участие в первом Всесоюзном празднике духовой музыки.

Нужно ли уточнять, почему именно духовой, и именно в День Победы! Этим событием открылась программа заключительных мероприятий второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвященного 70-летию нашей революции.

Не помешала даже непогода. Духовая музыка буквально разлилась вместе с дождем и ветром по улицам города. От Киевского вокзала водный трамвайчик, а от Комсомольской площади — городской трамвай курсировали по Москве с духовыми оркестрами «на борту».

Марш-парад, прошедший 9 мая по улице Горького, стал кульминацией праздника. Говорят, такого Москва еще не видела. И не только горожане, но и сами участники, казалось, были ошеломлены происходящим. Вот как описывали свои впечатления музыканты польского оркестра из Познани: «Больше всего обрадовало отношение к нам людей на улицах города. Нас встречали прекрасно, радушно, и, несмотря на то, что было холодно, все мы были согреты теплом многочисленных зрителей. Мы расцениваем это и как дань па-

ыка над городом

мяти погибшим во время войны, и как один из способов борьбы за мир».

Думаю, интересно было всем. А главное, что праздник напомнил, как эффектны духовые оркестры на улицах города, как ярко они украшают любое торжество.

Однако, если быть объективным, праздник показал и то, как сильно отвыкли мы за последнее время от духовой музыки. Интерес к этому жанру заметно ослаб даже у музыкантов.

Организаторы заключительного концерта в «Олимпийском» создали эффектное действо с представлением оркестров-участников, балетом, насытили программу эстрадой, прозвучал в общем исполнении «Гимн демократической молодежи мира», а вот в самой духовой музыке, по мнению тех специалистов, с кем удалось поговорить, открытий практически не произошло.

«Сочинений у нас сейчас появляется немало,— сказал председатель комиссии по духовой музыке Московской организации Союза композиторов Георгий Иванович Сальников,— однако наши контакты с исполнителями очень слабы. Произведения просто не доходят до оркестров, так как ноты выпускаются малыми тиражами. Разумеется, на всю страну не хватает. В Сибири и на Дальнем Востоке, например, вообще нет музыкального издательства. Из-за отсутствия качественных инструментов составы самодеятельных оркестров часто крайне малы. Многие сочинения им не сыграть.

Мы и на международной арене все время стоим в стороне. В 1981 году, например, открылась Всемирная Ассоциация духовой музыки, собирающая раз в два года обширные конференции. Мы на них еще ни разу не присутствовали...»

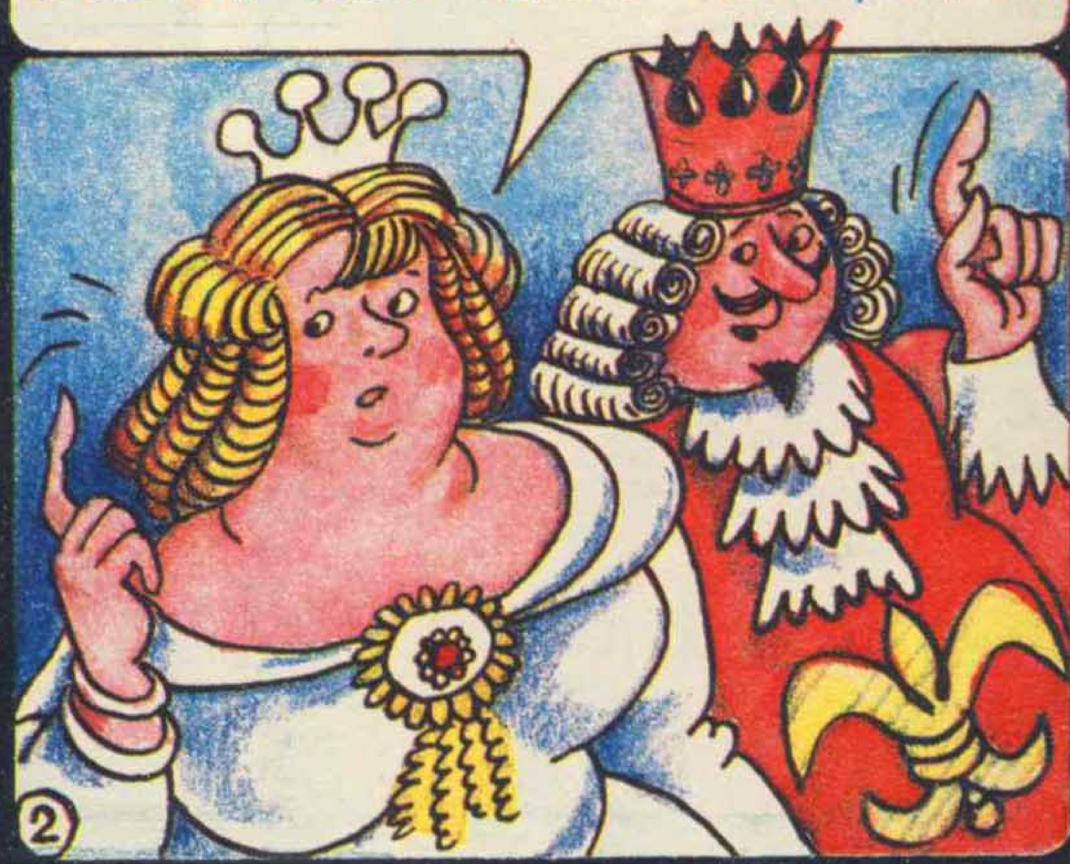
«Болезнь всех жанров — отсутствие общения,— посетовал первый заместитель председателя Всесоюзного музыкального общества Виктор Макарович Самойленко.— Поэтому главной своей задачей мы считаем прежде всего объединение музыкантов. Проблемы, стоящие, в частности, перед духовой музыкой, не решить в одиночку.

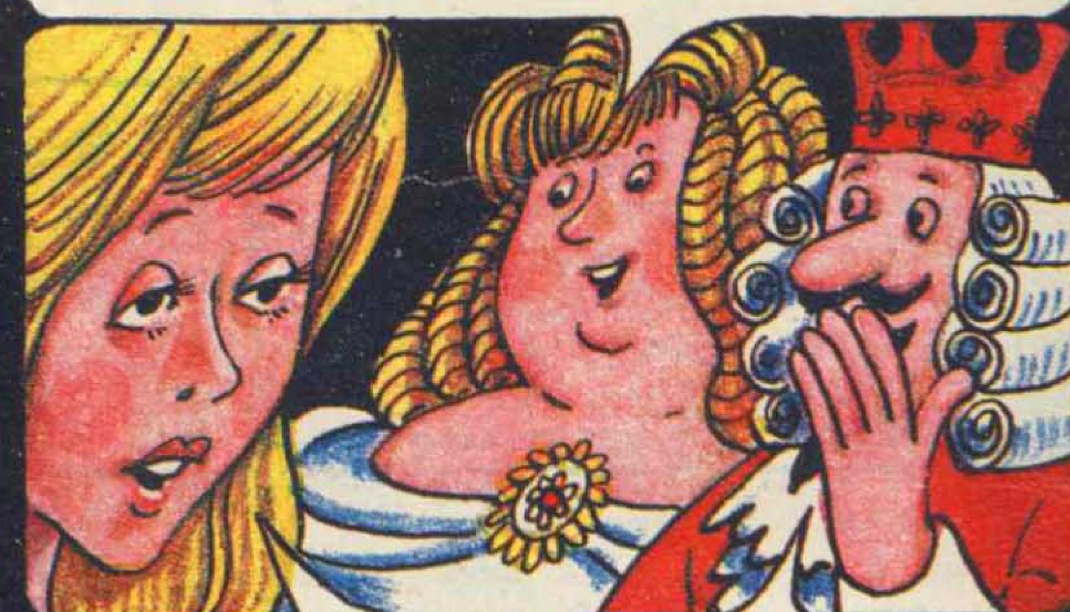
Вместе с тем нас крайне интересует и популяризация духовой музыки. Считая себя в некоторой степени преемниками Русского музыкального общества, мы предполагаем и здесь большую работу.

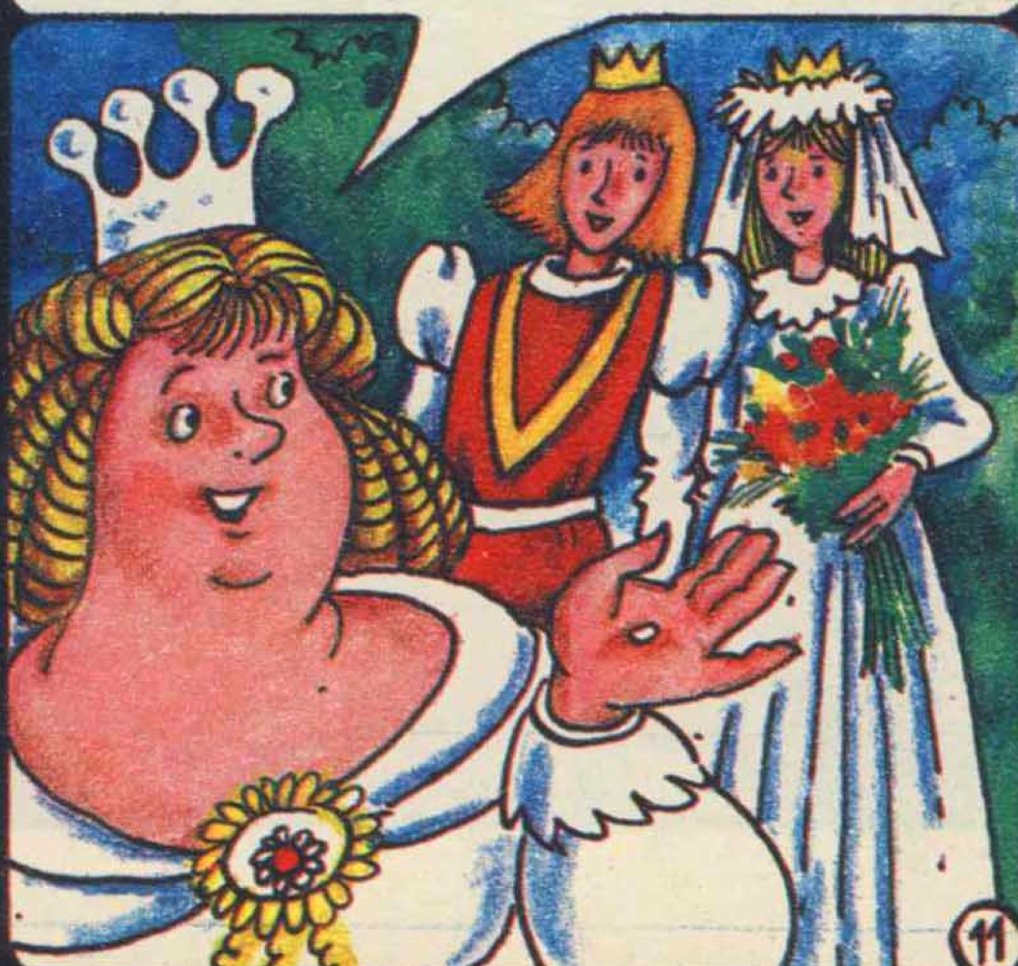
Праздник, как нам кажется, открыл огромное поле деятельности для режиссеров, музыкантов, художников, в нем участвовала масса молодежи, и мы считаем, что его нужно сделать традиционным. Здесь можно будет искать какие-то новые формы и решения, включать фольклорные мотивы, современную ритмику, не забывая и корней в отечественной, национальной традиции. Ведь только духовой оркестр может участвовать в уличных праздниках, истинно народных торжествах. Это очень демократичная музыка».

Вадим КИРЮХИН

Фото Анатолия БОЧИНИНА







ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ПРИШЛО ЛЕТО И У КОЛОБКА
НАЧАЛИСЬ КАНИКУЛЫ.
ОН ПРОЩАЕТСЯ С ВАМИ...
ЕСЛИ ВЫ ЗАХОТИТЕ СНОВА
ВСТРЕТИТЬСЯ
С КОЛОБКОМ,
НАПИШИТЕ НАМ.

ОГОНЁК

ISSN 0131—0097 Индекс 70663
Цена номера 40 коп.